Нет! Это решительно никуда не годилось!  Иван Павлович любил, чтобы в эти ясные во всех смыслах утренние часы, никто его не беспокоил. Он даже волнительные, как принято говорить у артистов,  мысли о предстоящем решительном объяснении в чувствах задвинул в самый дальний, затишный куточек. Размышлял, вчитывался в строки  поэмы Жуковского, как привык за десятилетия  профессиональной чтецкой жизни. И все-все в Доме знали: Иван Павлович работает, дело это - священное, и  мимо двери ходили, по-особому бережно ступая. Даже неугомонно-взбалмошная  Потычиха (хотя старенький половичок отчасти скрадывал  звук  нарочито тяжелых её шагов) чтила уединение и покой Ивана Павловича, вопреки  прямо-таки клокотавшим в её душе желаниям. Лишь  временами нетерпение вырывалось  наружу, подобно  струям кипятка из свищей в трубах отопления Дома, что нет-нет, да и образовывались в зимние месяцы.
   И вот – на тебе! По стуку Иван Павлович понял, что это ми-лейшая докторица Агнесса  Ларионовна, которую он уважал и нисколько не боялся, и которая его также чтила. Только она – и никто иной – могла так осторожненько  четырьмя наманикюренными ноготочками простучать по дверной филёнке: мизинчик, безымянный, средний и указательный. Ясно, она. И это в тот самый момент, когда он дошел до самых душераздирающих строк в поэме:

Он поднял грустный взгляд на Агасвера
И тихо произнёс: «Ты будешь жить,
Пока Я не  приду»…

Иван Павлович обозначил знак цезуры в том месте, где стихотворным размером диктуется пауза, и  теперь обдумывал, как  обыграть интонационно слова Христу,  обращённые к Вечному Жиду: «Пока я не приду». Просто ли воспроизвести, или  использовать то глубочайшее профундо, на которое он всё ещё способен, несмотря на немощи телесные. То самое профундо, которое до мурашек по коже. То, что в трепет приводило слушающих, особенно впечатлительных дам в зале. Помнится, когда ему впервые позволили читать есенинского «Чорного человека», так и было.  Филармонический  зал на четыреста пятьдесят мест, на том есенинском вечере был полнёхонек, и погружён  силой его голоса и чтецкого мастерства в безмерный ужас предсмертного отчаяния поэта. Многие тогда ему об этом рассказывали после концерта.
    И тут этот стук !!!
- Войдите.
Агнесса Ларионовна  в ангельски-белом халатике стояла в дверях. А за её спиной переминался с ноги на ногу некто с бледным с просинью лицом и  каторжно остриженной седой головой.
- Иван Павлович! Голубчик! – Начала Агнесса Ларионовна своим грудным, ласковым контральто, какого и  в группе солисток филармонии не было. – Я к вам с нижайшим поклоном.  У нас новоприбывший. А все места заняты – вы же знаете. А селить надо. Только к вам.
Иван Павлович, было, хотел  выдавить из себя нечто,  хотя бы междометие какое- то, но Агнесса Ларионовна опередила:
-  Я всё понимаю, миленький, Но это временно, временно. Со-всем ненадолго. В  272 номере, вы же знаете,  Кирилл Петрович … совсем плохой и… И вы… опять… Но сейчас временно, понимаете, временно…- И, совсем добивая сопротивление, выказанное явственно на лице Ивана Павловича, буквально пропела.  - Вы же интеллигентный человек, дорогой вы наш Иван Павлович! Вы поймёте…
  По правде сказать, Иван Павлович себя в интеллигентах, ни по рождению, ни по роду деятельности, отнюдь не числил. Переиначивая поэта, любил не без язвы  по отношению к самому себе говаривать: « Я – ассенизатор и водовоз глухомани духовной». А с некоторых пор, общаясь с обитателями Дома,  вовсе утвердился во мнении, что слово «интеллигент» в глазах простонародных вновь набрало исключительно негативный окрас. Но в устах Агнессы Ларионовы, да при её контральто…
- Да! – Только и сказал он. И вышел на балкон, не желая при-сутствовать при разрушении его хрупкого, с таким трудом обретённого и обустроенного, мира. Ему  изрядно поплохело. Ожила и дала о себе знать тягость за грудиной. Он  достал из кармана стеклянную ампулу, сковырнул крышку, высыпал на ладонь белую гранулу и отправил её под язык. Уф! Сердце немного отпустило. Иван Павлович продолжал размышлять о сюжете и герое неоконченной поэмы. Работа всегда отвлекала его от внешних обстоятельств. Так и сейчас; Пред ним не двор Дома, но улица в Иерусалиме. Христос, влачащий свой тяжёлый крест. Пот, смешанный с кровью, стекает по  щеке. Спаситель останавливается  подле невзрачной халупы, опирается на стену. Но хозяин – Агасвер отталкивает Христа: «Иди своей дорогой». И Христос, проклиная, говорит Агасферу; «Ты будешь жить, пока я не приду». Так начинается жизнь Вечного Скитальца, которого и прозвали Вечным Жидом. Вот так! Жизнь, как проклятие! Люди жаждут жить долго, цепляются за каждое мгновение. Он  сам – хотя сердце всё чаще и чаще даёт о себе знать -   карабкается. На столе у изголовья кровати  пузырьки и коробочки рядком, словно бутылки и шоколадные плитки на  стойке бара в филармоническом буфете. И здесь, в Доме,  никто жизнь не числит  наказанием божьим. Иной раз  посетуют:  мол, никак не приберёт меня Господь. Эх, лукавство всё эти сетования! Всё равно жить хочется. Ой, как хочется – пусть даже  и так, в казённом заведении.
- Заносите! –  Скомандовала Агнесса Ларионовна.
Гриша –  достаточно, по здешним нормам, молодой, придурковатый (по медицинской справке) обитатель  Дома, обычно приглашаемый для функции «подай-подними-подсоби» и Рябоконь –  разнорабочий Дома, стоявшие в коридоре наизготовку, начали заносить в комнату койку. А она не пошла. Тогда Рябоконь достал молоток, висящий на поясе вместе с другими инструментами, грохнул по панцирной сетке, и отсоединил её от спинки. А затем и вторую спинку отсоединил. Теперь можно  заносить. На стук нарисовалась Потычиха. Встала в дверях и, как бы сквозь переполнявшую рот вязкую слюну, сказала:
- С  уплотненьицем, Иван Павлович! Вам теперь много весельше будет.  А я вас предупреждала, что рано или поздно…
Рябоконь, известный своей несдержанностью и занятый  му-торным делом сочленения спинки с панцирной сеткой, как бы ни к кому не обращаясь, произнес с сердечной надсадой в голосе: - Пошла к бебёной матери!
- Агнесса Ларионовна! Что же этот такое! – взвилась до визга Потычиха. – Что же  он лается? Я, между прочим, по сю пору в профсоюзе состою! Я и в стенгазету могу…
- Клавдия Петровна, - умиротворяюще ответствовала Агнесса Ларионовна, - Это он про кровать. Шли бы вы, уважаемая, по своим делам.
- Ага!  Кровать-перемать, -  добавил Рябоконь, наконец-то вставив крючки в пазы.
  Пока шла сборка  кровати, Иван Павлович стоял, молча на балконе, вслушиваясь в отползающую боль, и разглядывал  тяжелые грозди доспевающей, розовой ещё до поры, рябины. Год выдался славный. Рябины под окнами уродилось, как никогда. В прежние времена, говаривала бабушка, такой урожай к морозной зиме. «Баушка» -  он звал её так до самой  кончины, будучи совсем взрослым. Какая-то особая ласковость заключалась именно в таком звучании слова. Баушка  Алёна!  Соседка Нюра, бывалоча, кричала из-за прясла, разделявшего две усадьбы: «Алёнтя, подь-ка суды». Он любил бабушку при своём сиротстве  до трепета, до слёз, но на похороны не смог прибыть. В ту зиму снега нападало немеряно. И до Соловьёвки, где она доживала свой век в соседстве с тремя оставшимися горемыками, дорогу не чистили – деревня-то была выморочная, неперспективная, как то значилось в постановлении местной власти. А когда через полторы недели дорогу пробили, а из соседнего села приехал трактор «Белорус» с ковшом, чтобы, наконец, выкопать могилу и похоронить старуху, до того сохранявшуюся в вымороженной избе, Иван Павлович лежал в больнице с двухсторонним воспалением лёгких, которое  нажил, маясь в своём городском пальтеце у занесённого сугробами свёртка в родную деревню с кое-как прочищенного большака.
   Наконец кровать была собрана. Необъятная Спиридоновна внесла матрас, застелила простынёй, одеялом, взбила клёклую подушку. Положила в ногах полотенца и, упыхавшись от трудов, сказала:
- Вот! Живите-поживайте, добра наживайте…
- Заселяйтесь, Амнеподист Михалыч, - сказала Агнесса Ларионовна. - Я думаю, вы притерпитесь. – И вышла.
Только теперь новый, вовсе нежданный сосед,  ступая, будто  босиком по металлической токарной стружке, вошел в ком-нату и сел на свою законную кровать,  моментально провалившись в податливую, продавленную многими насельниками, спавшими  на ней прежде, панцирную сетку.
- Хороша шконочка, - произнёс он довольно-таки густым, даже поставленным голосом с заметной табачной хрипотцой. И добавил, для усиления констатации, – В натуре.
  Теперь нужно было начинать жить по-новому. А по-новому - значит, возвращаться Ивану Павловичу в комнату с балкона и делить  жизненное пространство на двоих. Отрывать  руками от себя и своими же  руками вручать своё, и  только своё местопребывание этому коротко стриженному. Кто он такой, знать не хотелось. Да и понятно было, кто он такой; одно только словечко «шконка»  о нём рассказывало больще, чем  новоприбывший, скорее всего,  был готов рассказывать. В Доме среди его обитателей такая публика водилась. Были даже две бойкие татуированные старушенции, которых злоязыкие товарки по корпусу называли прошмандовками. Вот, и этот, как его, тоже раскрашенный. Кисти рук сини от наколок.
- Стало быть, тебя землячок, Иваном звать? А меня – Анемпо-дист.  Погоняло -  по святцам. И ничего не поделаешь. Как на-звали и в паспорт вписали – так и хожу. А знаешь, как переводится на русский? – И, не дожидаясь ответа Ивана Павловича,  продолжил: - Свободный – хе-хе. У нас на «Шестёрке» хорошая энциклопедия была. Там и вычитал, что с греческого если перевести, то по-русски будет Свободный.  Нет, ты понял:  свободный   пожизненно!
Он огляделся:
- Да тут у тебя все удобства!
- Да, - подтвердил Иван Павлович. Там, - он указал на дверь, - туалет и душ. Вы в душе моетесь?
- Ну, ты, Ваня, даёшь! В натуре, моюсь. Хотя, парную люблю.  Тут  парная есть? Страсть, как охота.
- По средам – женская. По пятницам – мужская. Но это, если доктор не запрещает.
- А по субботам? По-русски если, надо бы в субботу.
 В субботу баню занимал персонал. А точнее, неохватный в поясе СанСаныч Тонких – директор Дома. К нему приезжали друзья - сплошь нужные люди, без которых Дому выживать было бы тягостно; то трубы, то стекло, то кирпич для пристроя – сами понимаете. И все всё понимали, кроме  всё той же Потычихи, которая умудрилась как-то в одну скандалёзную газетенку письмецо написать с жалобными причитаниями, что ей, бывшей честной труженице-силикатчице, члену профсоюза, орденоносице и помыться негде. А парится одна коррупция.  Газетка  прислала вертихвосточку молодую, да раннюю – зубы желтые, прокуренные. Та походила, фотоаппаратом поприцеливалась. С СанСанычем поговорила сладенько-сладенько. А потом расписала что было, чего не было. И забабахала на целую страницу. Приехала комиссия. Тонких чуть ни выкатили на тачке за ворота, баню закрыли согласно внезапно возникшим замечаниям  пожарных и санэпиднадзора до устранения выявленных недостатков. А Потычихе один звероватый дедок, бывший паровозный кочегар из второго корпуса шепнул  в столовой на ушко, но так, что все услышали: «Пришибу, пакля». После чего целые полторы недели Потычихи не было слышно, и ходила они всё больше бочком.
- Меня зовут Иван Павлович Клюквенников. А вас, следова-тельно, Анемподист Михайлович…
- Горелый. Горелый моя фамилия. Свободный, но горелый! Ха-ха-ха. А я и воде не тону, и в огне не сгораю. Шесть ходок! Да ты не боись! Я по «мокрым» статьям не мотал. И вообще людей не обижал. Одно госимущество. Да и то, что плохо лежало. Ты скажи, какая жизнь подлая; Лежит чё-нить брошенное, гииёт-пропадает. И никому – ничего.  А я, да  с подельниками взял, в дело пустил - и замели. И оказывается, я вор-рецидивист. Где справедливость, о которой по телевизору их вестуны гладко поют. Но и по этим делам не боись. Завязал. - И он, как гороха высыпал – перечислил без запинки номера статей советского, а затем и российского УК по которым шёл по жизни. А вот теперь дошёл до Дома.
- О! А это ты штоль? - Анемподист ткнул пальцем по направлению к цветной афише, прикнопленной к стене.
Афиша извещала о том, что лауреат всесоюзных и всероссий-ских конкурсов чтец  Иван Клюква предлагает вернуться в годы молодые и послушать композицию по стихам  поэтов-фронтовиков: «Бьется в тесной печурке огонь». Вообще говоря, настоящая фамилия Ивана Павловича в действительности была Клюквенников. Видно, кто-то из давних предков отличался на сборе ягоды в  местах, где  её густо росло на болотах. Только где? В степной Соловьёвке ни болот, ни клюквы отродясь не росло – голимый ковыль да степная вишня. Но не о том речь, а о фамилии. Когда в своё время дошло дело до проблем с афишей, решили, что длинный ряд букв – плохо. И места много занимает, и на языке не укладывается. Другое дело – Клюква! Мальковский – премудрый филармонический директор аж в ладоши  себе самому захлопал – так ему  придумка понравилась. На том и порешили. В ведомостях на зарплату Иван Павлович оставался  Клюквенниковым. А на сцену выходил Иван Клюк-ва! И коротко, и запоминается с первого раза.
- А книг у тебя богачество великое! – Заметил Анемподист, не без зависти пробежав глазами по полкам.
Книг у Ивана Павловича действительно собралось много. Рябоконь, при его заселении в Дом, сгондобил стеллаж из хорошо просушенных сосновых досок. Всю жизнь чтец Клюква собирал библиотеку отечественной поэзии, поэтических переводов и книг по искусству, чему в немалой степени способствовала его кочевая, гастрольная  жизнь. В райцентрах, а, порой, в самых дальних сёлах, куда Иван Павлович приезжал с концертами, первым делом он шёл в магазин. В потребсоюзовских лавках рядом с условно съедобными консервами «Завтрак туриста», серыми макаронами, резиновыми сапогами, оцинкованными вёдрами и брезентовыми плащами, погромыхивающими при надевании, будто жестяные, обязательно имелась книжная полка. Помимо непременных школьных тетрадей и химических карандашей, которые при писании надо было слюнявить, или макать в воду, на ней стояли книги. И  часто такие, за которыми  в городе шли в драку. Даже при своей невеликой зарплате и смехотворной концертной ставке Ивану Павловичу доставало денег на книги. Тем более,  после выступления председатели колхозные снисходили – предлагали по себестоимости кусок мясца из колхозного склада. Хоть и с косточкой, однако, свежая убоина. А при совсем благоприятном стечении обстоятельств,  могли и на пельмени пригласить под водочку и задушевный разговор о том и о сём с городским артистом, тем более, лауреатом. Как говорится, наличный рубль сберегался.
- А Вы Анемподист Михайлович…
- Да ты меня проще кличь – Михалычем!
- Так вы, Анемподист Михайлович, книгами интересуетесь?
-  Читать мне в кайф. Не отказываю в удовольствии. А чё?
- Да нет, ничего…
  За свой долгий срок жизни зэка, Анемподист уяснил: похвальные слова Максима Горького о книгах – чистая, в натуре, правда. В первую свою ходку, ещё по малолетке, ему пригодилась детская начитанность и прекрасная память. Голова у него от рождения так устроена, что  с ходу,  с первого прочтения запоминала любой сложности текст. Он и приговоры  свои помнил наизусть. Запоминал с голоса, пока судья  зачитывала.  На первой ходке,  быстро сообразил, что надо  чем–то отличаться. Особой силой бог его обделил, хотя наличествовала верткость и умение терпеть боль, если не очень сильная. Это он уже потом, на второй ходке начал обзаводиться авторитетом. А по первости, по глюкозному делу, за которое над ним потешались все, кому ни лень, оставалось одно – вспоминать. И начал он вслух читать «Конька- Горбунка» таким же, как он, малолетним сидельцам детской колонии. И пошло-поехало: когда сказка кончилась, от него потребовали продолжения. Стихи складывать  не умел, но оказался  способным к сочинительству.  И начал Анемподист «романы тискать» - так это называется на тюрем-ном языке. История с Иваном-дураком и его другом-коньком имела многосерийное продолжение. В них Иван-дурак побывал в Америке,  искал  самоцветы в лунном кратере, нырял на дно морское, воевал с кощеями, был ранен в бою, срок мотал за низачё, из-за  мента поганого, который ради процента раскрываемости кого  угодно готов был замести. Дошёл со штрафбатом до Берлина – и много всякого ещё. За это сказителя не притесняли и даже подкармливали, когда появлялось то,  чем «грели» зону с воли.
- Диска, - приказывал Бугор, - тисни-ка рОман. Все вокруг умолкали. А Диска – так сократили до удобопроизносимого его имя на зоне, начинал очередной свой роман. Укороченное имя прилипло и превратилось в кличку – Диск. Она даже в его лагерном деле значилась. В конце концов,  способность к сочинительству и смиренное поведение оценили офицеры, занятые воспитательной работой и  поставили заведовать библиотекой. Начитанность расширяла возможности. Он брал  готовые сюжеты из классики – советские романы не жаловал – и всяко их переиначивал. Большим спросом пользовалась  «Шагреневая кожа». Разумеется, в его пересказе из романа исчез Оноре де Бальзак – это перво-наперво. И никакой Франции. Все дело происходило в СССР.  Главный  герой – вор в законе, которому портфель, сделанный из шагрени, украденной в музее, задарили от общака во время коронации. Благодаря ослиной этой чудо-творящей коже, стал он директором московского мясокомбината имени товарища Микояна. А так – всё строго по сюжету, но с некоторыми новациями. К примеру, директор-вор упрашивал бывших корешей  стырить у него проклятую шагрень, чтобы избавиться от приближающегося «вышака» за приписки и туалетную бумагу в сосисках вместо мяса. А также про ухищрения влюбившейся в него молодой лаборантки,  норовившей растянуть съёживающийся портфель с помощью лабораторных препаратов и рентгеновского облучения.
- Так я пойду, сполоснусь, – сказал Анемподист.
- А мыло есть?
- В натуре. Выдали. И щётку зубную, и даже пасту. –  И он начал раздеваться. Стащил фуфайку. Иван Павлович заметил, что вместо четырёх пальцев на левой кисти – четыре култышки. Под фуфайкой серая, застиранная майка. И всё тело разукрашено татуировками.  Снял брюки и с носки. Стала понятна причина его походки  - пальцев-то на обеих ногах не было вовсе.
- Видал? – Анемподист ощерился. – Врачи  в больнице меня, как карандаш, подточили.
- Послала мне Агнесса Ларионовна соседушку, - подумал Иван Павлович, - и его передёрнуло от вида искалеченных ног. Какая-то смесь брезгливости, но и сочувствия, почти физическое  ощущение чужой боли  передавило горло. - Купайтесь, купайтесь. А я пройдусь. – И он вышел из комнаты.
  Спустившись во двор, он сразу направился к Надиной беседке, зная, что застанет Надежду Васильевну именно там, за любимым занятием – так они договорились вчера вечером. Она любила вышивать на пяльцах – и славно это у неё выходило. По-правде,  славно выходило всё. Вот и беседку – довольно-таки казённое сооружение,  поступивши в Дом, преобразила, высадив  в приямке у стен вьюнки  и цветы. Вьюнки взялись и мигом потянулись вверх по столбикам и тесёмкам, которые натянул по её просьбе Рябоконь. И теперь беседка напоминала собой клумбу.  Надежда Васильевна поджидала Ивана Павловича  именно там с пяльцами в руках. Он поцеловал ей руку, и она, сухой своей ладошкой пригладив вечный вихор на его голове,  спросила:
- Совсем плохо?
- Что?
- Вы бледный.
- Ну, это так… Видно, к перемене погоды.
- А сосед?
- Вы как узнали?
- Господи! Да  все знают уже. Он, что…
- Человек. Обычный человек. Только весь разрисованный.
- Ужас.
Ничего ужасного в тюремных татуировках Иван Павлович не находил. Во всяком случае, в них был некий смысл, в отличие от теперешней моды, охватившей молодых, а порой, и не очень уже молодых дамочек и парней, вроде флейтиста Кириллова из Камерного оркестра. У того разноцветный дракон выползал из-за ворота рубахи и почти дотягивался мочки левого уха. Да и заключённых он повидал за свою концертную жизнь. В прежние времена  приходилось выступать на зонах с шефскими концертами, которые любила организовывать  Вихрь в юбке – так артисты звали за глаза  Мирру Марковну  -  зав. гастрольным отделом филармонии.
- Ничего, - сказал он, махнув рукой, - И не такое переживали. Вы же будете ждать?
- Да. – Сказала она.- Если бы, если бы… если бы раньше, то тогда…
Иван Павлович увидел, что она готова расплакаться. Он и сам расплакался бы, но не умел, а вернее,  жизнь научила: при женщине мужику плакать непозволительно.
-  А давайте мы  обвенчаемся
- Вы… - сказала Надежда Васильевна, - Вы сошли с ума… Венчание…  О, Боже! Как вы себе это представляете?
- Запросто. Поговорю с нашим отцом Александром, он обведёт нас вкруг аналоя. – И  произнёс нарочитым, как бы «церковным» басом. – Венчается раб Божий!!!
- Иван Павлович! Милый! Да как же это… Да мы старые… И что народ скажет? А потом я в ячейке…
Она и действительно была секретарём  в полуподпольной ячейке  коммунистов. Директор  Дома коммунистов уважал конспиративно,  согласно должности,  поскольку  не положено в казённых учреждениях вести партработу. Лишь  просил никаких митингов не проводить, коллективных писем не писать, и голосовать во время выборов только за Партию Власти, дабы репутацию Дома и свою заодно не портить в глазах Вышестоящих.  В  голосование   не вмешивался. Никого не неволил. Но помогал уважаемым пожилым, плохо видящим насельникам Дома правильно заполнять бюллетени. СанСаныча также уважали, слушались и всё делали, как надо. И правильная партия всегда побеждала в отдельно взятом Доме Престарелых. Хотя один голос в Доме всегда выпадал за Жирика. Но это Потычиха – что с неё взять! Так голосовала она исключительно из вредности, поперёк Надежды Васильевны, о чём всякий раз сообщала ей  свистящим на весь избирательный участок шепотком, хотя… Хотя сама когда-то была членом КПСС..
  Наденька – так звал её наедине с самим собой Иван Павлович – жила в Доме давно. Порядочное уже число лет назад, совершенно внезапно прямо посреди заводского цеха скончался её единственный сын – директор завода. Её Олежка! Олежечка… Взял и умер – оторвался тромб, хотя ничего не предвещало  уход. Был  красивым, ухоженным, правда, немного полноватым.  Так,  мало ли полноватых, а то и вовсе толстых, живёт-поживает, немалого добра наживает. На многолюдных и пафосных похоронах, люди знающие перешёптывались, что из-за завода он и умер. Из-за  попыток захватить немалый сладенький участок в исторической части города. Кстати, так и случилось вскоре. Завод сперва заглушили процентами по кредитам, людей поувольняли, оборудование на металлолом порезали.  В бывших цехах обосновались шустрые как мураши, черноголовые вьетнамцы, торговавшие здесь же изготовленными «фир-менными» вещами. Народ  этот комплекс прозвал Сайгоном. Горожане, из тех, что попроще, плевались, но шли и покупали. А  что? Дёшево и почти не отличается от действительно «фирменных», особенно, если не привередничать, и не пялиться на каждый шовчик. Когда завод окончательно ушёл в чужие руки, засобиралась на историческую родину сноха. И уехала. И деньги, нажитые Олегом, взяла, и внуков забрала. И даже квартиру умудрилась продать. Хорошую, четырёхкомнатную, в трех-этажке, «сталинской» постройки, для армейского комсостава  возведенную. Квартира-то была загодя на Олежку переписана. А вдова  – наследница первой руки. Всё делала за спиной Надежды Васильевны. А когда оформила документы на выезд в Израиль и все дела обделала полностью, предложила свекрови перебраться в однокомнатную «хрущобу», милостиво предложив такую приобрести:
-  Вам, Надежда Васильевна, зачем такая огромная? Одна уборка, сколько сил займёт. Да и квартплата при вашей  пенсии в этой стране… Она подчёркнуто, с оттяжкой стала называть Россию «этой» страной.  Во время  разговора Надежда Васильевна словно окаменела. Не  из-за квартиры, но из-за внуков: Егорушки и Макса, понимая:  рвётся навеки последняя нить, связывающая её с Олежкой.
- Вы к нам приедете. Обоснуемся там,  вы у нас и погостите. Я приглашение пришлю. Да, Егорушка? Мы пришлём?
Ни в какую «хрущобу» Надежда Васильевна не поехала.  Тем  более,  на внезапно вспомянутую историческую родину сно-хи. Даже и в гости не собиралась. Её родина в Кашире, где, правда, и родни не осталось -  и этим всё сказано. Кстати, сноха не очень-то и настаивала. Бывший зампред горисполкома Сергей Кузьмич Полторацкий, не растерявший своего влияния и в новые, бойкие времена, решил вопрос о  заселении бывшей завотделением эндокринологии горбольницы,  известнейшего в городе человека, многоуважаемой некогда депутата Горсовета в Дом:
 - Будешь среди людей, станешь вести политико-воспитательную работу. И на всём готовом. А сноха твоя – стерва. Ты, что не знала, что она из «этих»?
- Знала. По маме она еврейка. Да как-то никогда не придавала этому значения. И она сама не очень евреилась. Олежке мо-ему нравилась. И она его любила… кажется. А, может, и правда любила…
- Ну, да… - с недоверием в голосе сказал Полторацкий. - Так что, собирайся. Жить будешь в новом корпусе.  Учти: одна!
   Вот и Иван Павлович до сего дня жил один, Одиночное проживание  выпадало далеко не всем. Поселяли так либо тех, за кого  хлопотали «сверху», либо людей некогда именитых. Например, Потычиха. В молодые годы её портрет не сходил с газетных страниц по красным дням календаря. Потычиха являлась живым олицетворением, говоря казённым языком, рабочего класса. Во время торжественных заседаний сиживала в президиумах, посвёркивая  орденом Трудовой Славы, возлежавшим на прямо-таки танкоподобной груди. А славна она некогда была по-настоящему ударной работой на силикатном заводе. Весёлка – целый заречный микрорайон весь возведён был из  отформованного ею силикатного кирпича. Это уж потом о ней забывать стали, когда строительство сперва притормозилось в лихие годы, а затем стало переходить на монолитный железобетон. Да и орден её отменили, вместе с прилагавшейся к ордену славе, вослед за отменённой страной, которая  когда-то не жадничала, не скупилась на висюльки за хорошую работу. Оказалось, что те, что некогда уважительно усаживали её в президиум, либо попрятались, как тараканы по запечкам, либо стали такими-растакими распорядителями жизни, которым некогда знатная формовщица-силикатчица и  нахрен не нужна. Потому, что не вписывается в новые реалии.  Не позовешь же её на  форум инвестиционный с фуршетом!  Она со своей орденоносной грудью куда?  Всё смажет! Потычиха, или по-прежнему, по-советски, Клавдия Петровна Потыхина, понятное дело, сначала тихонько-тихонько  затосковала. Следом - обиделась, а потом вовсю распалилась, когда на заводе, откуда ни возьмись, возбух, как  чирей с белой головкой, молодой хозяин, говоривший мало, но с  каким-то непонятным акцентом. Про кирпич  знать ничего не знал. Да и знать не хотел. Зато хорошо овладел наукой, как он говорил, мЭнЭджимЭнта.  Чирей первым делом профсоюз заводской упразднил. И всё эти прежние штуки. всякие рабочие династии, передовики-ветераны ему, как эффективному менеджеру, не в масть. Сами понимаете, судьба орденоносной груди была предопределена. Как говорят: пришла беда – отворяй ворота! Тут Татьяна - дочь Потычихи вдруг запа-лилась по-женски и за полтора месяца скопытилась.  Зять – что с него взять - рванул  за длинным рублём на Ямал. Внук Тимоша, оставленный ей для присмотра и утешения,  стал ширяться героином и доширялся до тюрьмы, по дороге променяв на наркоту её орден. Потычиха и упросила, чтобы её определили  в Дом. Одно хорошо – орден мильтоны отыскали и вернули.
  У Ивана  Павловича – другая история. Он удостоен был чести стать Заслуженным работником Культуры «в связи  с… и с многолетним…». Это была своеобразная плата за участие в избирательной кампании 96-го года, когда тащили в президенты немощного Ельцина. Иван Клюква в те дни мотался по области, с подъёмом, читая стихи и забористые публицистические тексты, скомпилированные из  агитстатей  тогдашних громкоголосых московских властителей возбуждённых умов. В ход шли и худпроизведения, раздевающие догола  преступный коммуно-сталинский режим. Чтец Иван Клюква ощущал себя фигурой значимой. Сам себе  виделся провинциальным Камиллом Демуленом. Во всяком случае, именно так  назвал его впалогрудый  Стас Угаров - руководитель потайной группы московских по-литтехнологов, весь обсыпанный пеплом нескончаемых сига-рет. Да и денежки неплохие шли за работу и через кассу филармонии, и в конвертах. Впервые  Иван Клюква смог в подробностях разобраться в фамилиях американских президентов, изображённых на долларовых купюрах. Полумёртвого Ельцина  избрали не мытьём, так катаньем. А Ивана Павловича, хоть и не поставили на должность директора филармонии, хотя он втайне на это рассчитывал, но Звание дали и Благодарность Президента присовокупили.  Как язвил приятель Василь Червонный – танцор из хора: «Стал ты, Ваня, ЗасРаКом» Но это он по-доброму, по-приятельски язвил. Было время, когда Ивана Клюкву и безо всякого Ельцина чтили, как чтеца. Не  было отбоя  от предложений приехать и прочесть. Тем более, читал он здо-рово. И его участие в предвыборных баталиях было делом, как ему казалось, случайным,  но отчасти и по убеждениям. Обычно он завершал свои композиции  так: «Товарищ, верь: взойдёт она – звезда пленительного счастья. И на обломках самовластья…» Хорошо присовокуплялся Пушкин к остроте текущего политического момента. После этих слов, да ещё произнесённых с подъёмом,  голос понижался почти до полного мрака и становился тяжёлым, будто удары молота, забивавшего кованые гвозди в гроб коммунистических завиральных идей. Слушатели, как правило, вставали и провожали артиста Ивана Клюкву аплодисментами. Вне политики же, вся русская классика была в его репертуаре. Собирал  полные залы в филармонии. А уж про  райцентровские  дома культуры и говорить нечего. Но и по заводским цехам в рабочий полдень  ему не зазорно ездить. Отобедают люди, а после - он со своими стихами на двадцать минут. Хотя, конечно, всё больше женщины приходили. Мужики – те «козла» забивать. А и женщины – хорошо. Сидят, слушают Есенина в красном уголке. А он: «Молодая, с чувственным оскалом, Я с тобой ни нежен и не груб…»  Или Пушкин: « Я Вас любил..». Прибыток  от таких концертов не велик, но профсоюзы копеечку филармонии платили. Сталбыть, и ему капало.  Когда он, молодой артист, начинал свою чтецкую карьеру,  время было молодое, пружинистое и стихи шли. В столицах в достославные времена его студенческой молодости поэты погромыхивали на стадионах. Здесь же, в провинции на стадионах пили пиво и болели до хрипоты  за любимую команду. Но залы он собирал, поскольку его сольники состояли не только из чтения стихов и  прозы, но повествований об авторах и хроники их путаной жизни, и обстоятельств написания литературных шедевров. А потом дело покатилось под уклон. Началось с малого; Из программ официальных концертов к датам исчезла речевая, некогда всенепременная часть. В самом деле – как можно праздновать годовщину Октября, если не звучит Маяковский? Оказалось, можно. Ушли и траурные заседания в день памяти Лепнина с обязательным, всё тем же Владим Владимычем: «Если выставить в музее плачущего большевика…».  Зачем, спрашивается, слёзы лить, когда Ленин всегда живой? Ну, и так далее. Какое-то время Иван Павлович вёл концерты. Он выходил на сцену в своём «концертном» костюме, объявляя номера. Но потом и этого не стало. Объявки зазвучали из-за кулис: «На сцене тан-цевальная группа областного  народного хора». Мимо него  выносились к публике, повизгивая, нарумяненные до неприличия танцовщицы в псевдорусских нарядах. А следом – притоптывающие парни в якобы простонародных  картузах. Всё это повизгивающее и гикающее действо  олицетворяло нерушимое сочетание народности, растущей духовности, при одновременном росте общего благосостояния. Конечно, Иван Павлович обиделся за изгнание его со сцены во время статусных концертов и низвержение в закулисье. Однажды, приболев, отказался от предложения  «почревовещать». Нашли временную замену -  молодого Колянчика-баритончика из драмтеатра.
Он позвонил:
-  Иван Палыч, не обидитесь?
- И не подумаю, - ответил Иван Павлович, хотя надеялся, что устроители будут настаивать, или, хотя бы приличия ради, посочувствуют. Хренушки! Оп-па - и всё!
- Иван Павлович, милый, а вы все таблетки сегодня приняли?
Какой у Надежды Васильевны голос! Какой голос! Будто ма-ленькие, почти невесомые, тончайшие, серебряные  колоколь-цы вдруг начинали звучать, когда она заговаривала.  Первое время, когда Иван Павлович обосновался в Доме, никого и ничего он не видел вокруг – столь тяжело переживал  бесповоротный  и, как ему казалось, окончательный этап своей биографии. А потом  как-то у себя за спиной в столовой услышал звучание этих колокольцев и мгновенно – чёрт побери – именно мгновенно, по-мальчишески влюбился в этот, ни с чем несравнимый, ранее не слышимый им звук. Он даже повернулся и увидел трёх немолодых женщин.  А  какие ещё, женщины могут быть в Доме? Но они, молча,  управлялись с борщом. Пялиться неудобно. Иван Павлович повернулся опять к своей тарелке. И тут колокольцы зазвучали вновь. Только дня через три вычислил он об-ладательницу этого, столь заворожившего его, голоса, идучи за ней следом по коридору и слушая её разговор со спутницей. Затем услышал, как её зовут. Потом совсем по-мальчишески начал быстренько расправляться с едой, выскакивать из столовой и потом ждать её и провожать глазами. Ему хотелось подойти и представиться этой женщине с царственной осанкой и  коротко стрижеными волосами пепельного цвета, всегда аккуратно уложенными. Только цвет глаз ему не удавалось рассмотреть – не очки же надевать. Но близился День  Пожилого Человека – можно сказать, профессиональный праздник  обитателей Дома. Агнесса Ларионовна просила Ивана Павловича оказать любезность и выступить на празднике с чтецкой программой. Он, конечно же, согласился, и тогда читал с большим подъёмом. Народу набралось достаточно. Надежда Васильевна также пришла и села слева возле окна. Она была нарядна в оренбургском  серо-дымчатом палантине, наброшенном на плечи. В программу он отобрал своих любимых : Пушкина,  Тарковского,  Заболоцкого. Слушали чутко, аплодировали. После концерта Надежда Васильевна подошла и сказала: «Спасибо». Иван Павлович впервые увидел её лицо вблизи. Конечно же, у неё было лицо немолодой женщины. Но глаза, глаза…  он сразу вспомнил аквамарины, что увидел когда-то давно в нижнетагильском музее – прозрачные кристаллы, внутрь которых кто-то неведомый словно бы капнул нежнейшего фиолета. Так они и познакомились.
  Разумеется, у Ивана Павловича были в его жизни женщины и не одна. Он трижды погружался в радости супружества.  Супруга номер один служила солисткой-арфисткой в той же филармонии, что и он. Всё у них началось, запросто, со случайной связи после какой-то вечеринки, благо жили они дверь в дверь в филармоническом общежитии квартирного типа – этакие малосемейки с крохотной кухонькой и пенальчиком совмещенного санузла. Сожители по этажу приезжали и уезжали, согласно плану гастролей. Заезжали  другие. Жизнь  филармонического артиста не располагает к закоснелой оседлости, Они с женой, может, тоже бы разъехались. Да куда ехать, когда вот она -  беременность. Да беременность с осложнениями,  да тяжёлые роды  кесаревым сечением, да болезненный ребёнок – дочка Дашенька-Дашута. Да обещание вот-вот дать квартиру – вы в очереди шестнадцатые, давайте расписывайтесь. Расписались. А там ясли-сад, следом  школа и, чего уж там таить, нищета. Не совсем, конечно, в нищете жили. Но жена частенько слово это в разговор вставляла. Любила она скользящее и шипящее. Да и, правда; после ярких софитов и  концертного платья с блёстками – эти две комнатки в общежитии через коридор без ясной перспективы на свой вожделенный угол. По молодости, Ивану Павловичу ничего не стоило сняться с места -  голому собраться – только подпоясаться, а супруге с её арфой…  Но именно потому, что она,  арфистка – птица редкая, обрушилось на бедную женскую голову звание заслуженной артистки  автономной республики, откуда жена родом. И звали их туда в столицу гордой донельзя автономии, в город над полноводной рекой. Но Иван Павлович упёрся. Что ему, чтецу русской поэзии светит там, где в первую очередь надо знать язык народа, живущего в автономии и читать преимущественно тексты местных авторов? Да, к тому же, он стал расти по партийно-профсоюзной линии, и в коллегию областного управления культуры кооптирован. Но против судьбы не попрёшь: «Нищета, нищета, нищета». Супружница, когда ездила на автономную родину с концертом и за получением  звания и давала там сольник, познакомилась с одним виолончелистом, кстати, тоже русским. Но им, музыкантам жить на свете куда проще – национальных нот даже для уважаемых автономных республик не составлено – знай, води себе смычком: «До-ре–ми-до-ре-до». И этим всё сказано. Словом, уехала супруга. Уволилась со скандалом и укатила. И дочь Дашуту увезла. Но арфу не взяла .  Зато, на новом месте ей новую, из-за рубежа привезённую, справили.  Увоз дочери и разрушение, такой устоявшейся жизни стали тяжелым испытанием. У него даже голос почти пропал. Его повезли к знаменитому оториноларингологу  профессору Абрамзону. Профессор  заглядывал в горло. Задавал разные вопросы относительно курения и питья холодной водки. Заставил сдать анализы, в том числе зачем-то и анализ мочи. Смотрел на Ивана Павловича своими ветхозаветными всепонимающими глазами. А затем изрёк: «Я вас люблю. В концертах ваших бываю. Слушаю с наслаждением. С удовольствием бы пролечил, но вы не мой пациент». Конечно же, Иван Павлович убивался. Себя во всём винил. Да и как не винить, когда и вправду были они нищими. Всё в обрез. Ему бы, как главе семьи, следовало  давно бросить артистическую свою карьеру и вспомнить армейское прошлое. В армии стар-ший сержант Клюквенников стал классным двигателистом – другого такого во всей дивизии не было. Ему даже предлагали оставаться на сверхсрочную. Комбат обещал офицерскую должность и в дальнейшем -  учёбу в военном училище. Нет же! В артисты его тянуло. Хотя мог и бросить это малоприбыльное занятие и пойти в автосервис. Катался бы, как сыр в масле. А стихи почитывал в своё удовольствие. Тьфу, и ещё раз тьфу!
  Вылечил его от самоедства старинный друг,  оттанцевавший своё и пребывавший на танцорской пенсии, Василь Червонный. Он буквально в толчки выпихнул Ивана Павловича из общежития, усадил в машину и они поехали в Васильевку – пригородное село, где у Василя был дом, доставшийся по наследству ещё от деда. А во дворе дома, когда они подъезжали, дымила труба бани. Разумеется, Иван Павлович в баню идти не хотел, опасаясь совсем повредить свой органон. Ибо, что он без голоса!  Но Василь опять-таки в толчки загнал его в баню и жена Василя – волоокая солистка хора Ганна также приложила некоторые усилия, принеся в предбанник нечто на подносе, накрытое белой салфеткой. Но ни лютая парная,  ни самогоночка на травах, ни домашнего приготовления сало с мясными прожилками голоса не вернули. Иван Павлович ещё более разанюнился. Они ещё выпили за всё хорошее, и тут Василь сказанул: «Знаешь, Иван! Ты это брось. Ушла и ушла. Пусть она теперь своему новому виолончлен перепиливает». Расхохотался Иван Павлович:
- Ха-ха-ха! Виолончлен, говоришь? А-ха-ха-ха!
- О-ха-ха-ха! – Вторил Василь. - Ви-олон-член!- И даже руку в локте согнул,
- Член! Ха-ха-ха – надрывал живот Иван Павлович. – Ну, ты, Василий, как всегда! Ха-ха-ха! И с каждым «Ха» будто что-то тяжёлое и скверное вырывалось, вылетало шматками из горла и самой души. А следом и слово «нищета», будто змея, выползло из самого  сердца. Ха-ха-ха! И он почувствовал, как голос стал возвращаться. А под конец самогонки и парной они и песняка вдвоём даванули.
   Всего этого Надежда Васильевна не знала. Да и зачем бы ей знать? Иван Павлович не рассказывал. Для него самого вся история  женитьбы, рождения дочери, расставания, своих печалей по этому поводу стала чем-то  вроде сюжета из давно прочитанной книги. Скажите: кто переживает долго и по-настоящему судьбу какого-нибудь литературного персонажа, чтобы до крови из сердца, до скрежета зубовного, до ночных кошмаров? То-то и оно! Как он сам понял про себя: любовь у него  только одна – обертоны его голоса и та эмоциональная власть, которую чтецкое  мастерство давало над  душами людскими. Потом он сходился ещё с двумя женщинами.  Сходился потому, что так меж людьми заведено – жить, друг к другу прилепляясь. Да  и невозможно здоровому мужчине  маяться в одиночку. Но это так, почти походя. Считай, одно телесное утешение. Хотя..  Но сейчас, вдруг, неожиданно и всепоглощающе, когда от жизни почти ничего не осталось, когда сердце, подобно заношенной тряпице на верёвочке, трепещет даже от самого лёгкого порыва случайного сквозняка, пришло чувство, о котором он всю жизнь читал со сцены стихи, но которого он, как оказалось, не ведал по-настоящему. Теперь, когда у него ничего кроме засра-ковского значка на груди концертного пиджака, да отдельной комнатки в  Доме, запрятанном среди разросшейся  лесопосадки в пригороде, ничего и не осталось, появился этот голос изящно-седой женщины.
  В комнате, куда Иван Павлович вернулся после разговора с Надеждой Васильевной, его встретил намывшийся под душем и даже порозовевший Анемподист. Он восседал на кровати в одних чёрных трусах необъятного размера, поджав ноги под себя, и держа в руках красный томик стихов Андрея Вознесенского. На груди – православный крестик. Зрелище  то ещё! Сосед  разрисован  весь. Затейливые картинки покрывают грудь и спину, сбегают по ногам, ползут по рукам от плеч до запястий.  Надписей также  достаточно. Но особо страшны култышки ступней.  И в довершение – томик стихов в руке. Иван Павлович Вознесенского не жаловал, считая его последователем Маяковского, однако, пошедшим не по той половице, по которой вышагивал  Горлан и Главарь. Они оба, как половицы уложенные рядом. Вроде, из одной лесины пилены, у Маяковского – целиковая, неколебимая. А та, что под ногой Андрей Андреича, хилая - гнётся и скрипит. Вид татуированного соседа- рецидивиста с книгой в руках сам по себе дорогого стоил. А уж сборник Вознесенского…
- Я конечно, виноват. – Заизвинялся Анемподист. - Взял  без спроса.
- Ничего-ничего. Пользуйтесь. Стихи нравятся?
- Ага, когда хорошие, душевные, то есть… Вот, Есенин, ска-жем… его у нас на зоне уважают.
- Я знаю, - сказал Иван Павлович.
- Откуда? Тоже что ли…
- Приходилось бывать с концертами… Читывал
- Понятно. А к нам ни разу не приезжали. Одна самодеятель-ность. Майор Балабанов из КВЧ – и дирижёр, и режиссёр, и сценарист.  Я тоже выступал, стихи читал. Но всё равно,  больше по рассказам… Умею сам сочинять.
- Да? Пишите?
- Нет. Вслух. Теперь бы надо записать – свободного времени будет много. Если будет. Только  пишу с ошибками. Школу-то я на зоне закончил, но не в масть шло учение.
- Это умение наживное. Было бы желание, - заметил утешаю-щее Иван Павлович. -  Значит, Вознесенский всё-таки  понра-вился?
- Да ну его... Какой-то шивоворный-ковыворовный. Не по правде пишет.
- Он уже не пишет…
- Что, откинулся?
- Упокоился.
- А… Жаль..  Всёж-таки лихо  выкаблучивал. Надо же, завер-нул: «Чайка – плавки бога».
Невероятным показался Ивану Павловичу этот разговор о поэзии  с человеком, синим от татуировок. Для него, как и для многих других обычных людей, все преступники были на одно лицо, в которое, собственно говоря, и вглядываться особого желания не было. Ему бы вовек не знать этого собеседника, хотя забавно, что их  связывает общий интерес к чтению и даже опыт – ха- ха - выступления перед публикой. Больно ему было видеть эти култышки, но глупо делать вид, что человека этого рядом нет, хотя и поневоле. О, как это было всё некстати. Ведь сегодня он готов был не только руку и сердце предложить Надежде Васильевне, но и переселиться к нему. В Доме так жили несколько пар. Совсем ветхие: Леонтий Спиридонович – бывший лётчик полярный и Варвара Елисеевна –  жена. Живут же вместе, хотя мужем и женой стали в Доме. И Камчадаловы тоже. Правда, они с воли мужем и женой пришли.
- А с ногами-то что случилось, Анемподист Михайлович?
- Гляди-ка! Выговариваешь!
- Что именно?
- Как меня зовут. Уважаю. Не все сразу-то…
- Запоминаю быстро. Натренировал память за жизнь.
- А я с детства. Прочёл – и ага! А ноги… Я в зиму освободился. А куда идти – не знаю.  Дома нет. Подруга моя отчалила незнай куда. Работать?  У  меня пять профессий: плотник, сварщик, бетонщик, маляр и библиотекарь даже. Да кому нужен старый зэк? Кантовался зиму  по подвалам  и отморозил ноги. А тут менты с облавой – спасибо капитану Ковалю. Отвезли в больницу. А там хирург Грабовский лечил-лечил, а потом и говорит: «Хочешь, Анемподист, жить – с пальцами надо попрощаться. А то гангрена». И херак – пальцы подкоротил. Зато, говорит, ногти теперь врастать не будут. А-ха-ха-ха-ха! - Он смеялся хрипло. Смех перешел в мокрый кашель. Пришлось вставать и идти в туалет, отплёвываться от веселья.
-  Может чайку? – спросил Иван Павлович.
- Нет. Ак-ха, ак-ха! Ты чай пьёшь. А я чифирь запариваю. Ак-ха, ак-ха! Плитка-то у тебя есть?
- Здесь не велят плитки держать.
- Ак-ха, Ак–ха! Вот и на зоне не велели. А мы всё равно… Без чифиря какая жизнь.
 Иван Павлович достал из шкафа свой концертный костюм:
- Пойду, подглажу. Сегодня мне выступать.
- По какому такому случаю?
-  Так праздник же. День Пожилого человека. Новый министр обещала навестить. Вот меня и попросили выступить, стихи почитать.
- А тут что? Клуб или как?
- День погожий. Думаю, на улице. Там эстрада. – Он указал на окно. - Здесь и церковь своя есть.
- На зонах теперь тоже церкви. К нам даже митрополит приезжал. Службу  служил. Утешительно.. -  Амнеподист перекрестился.
    Креститься его учила  тётка Василиса. А он не хотел. Норо-вил пальцы не в троеперстие сложить, а в кукиш. Он же  октябрёнок, потом пионер.  Глядишь, мог бы и комсомольцем стать со временем, если бы не эта история с глюкозой. Химию в школе преподавала злючая-презлючая завуч Вера Геннадьевна. Амнеподист прознал, что глюкоза, хранившаяся для опытов на уроке в высокой стеклянной банке за запертыми дверцами шкафа – штука дюже сладкая.  Против сладкого он, росший без родителей, устоять не мог. Поковырявшись гвоздиком в немудрящем замке, шкаф  вскрыл, дабы убедиться, что глюкоза действительно сладкая. Как так получилось, что  слопал всю глюкозу,  неясно. Но, слопал. Пришлось водворять порожнюю посуду из-под химиката  в шкаф. А вот закрыть шкаф тем же гвоздиком не получилось. На беду, школьная нянечка  Лукъяновна видела, как он выходил из кабинета. Химоза – так прозвали завуча ребятишки – до крайности была потрясена как пропажей ценного учебного пособия, так  фактом обесчещивания целостности школьного имущества – взломом замка. За кражу полагался вызов тётки на педсовет, исключение из пио-неров, переэкзаменовка на осень и прочие школьные громы и молнии. Беда, однако, заключалась в том, что муж Химозы  был участковым милиционером. И когда  узнал от жены, что  глюкоза  съедена со взломом, вспомнил, что  отсутствующие родители Амнеподиста совсем даже не полярники-радисты на далёком острове в Ледовитом океане, но воры-домушники, вместе промышлявшие и вместе же загремевшие туда, куда следует, и уже не  первый раз. Квартиры подламывал отец. Мать  сбывала добытое. Ясное дело, яблоко от яблони… И пошло, и покатило. Тем  более, что с участкового начальство спрашивало за недопресечение. А тут – кража, да со взломом, да воришка во всём добровольно признался. Так  Анемподист начал свой ход по жизни. И доковылял до панцирной сетки в Доме, откуда, похоже,  можно освободиться только одним, но зато бесповоротным, способом.
   А Надежда Васильевна плакала. Всё-то она знала и безо всяких объяснений. Да и как было не знать! Давно, очень давно на неё не смотрели, как на женщину. А он, этот человек, смешноватый, несколько напыщенный, как и все «творцы»,  именно так и смотрел. У неё,  доктора-эндокринолога  было довольно много пациентов из так называемой творческой среды: певицы из местной музкомедии, озабоченные ростом щитовидки, известный в области прозаик Чернов Климентий Климентьевич, му-чающийся от собственной патологической полноты, скрипач Бахметьев – инсулинозависимый. Был даже  скульптор-монументалист, упрашивавший  гарантировать ему годочек жизни, чтобы закончить скульптурную группу, посвящённую комсомольцам – строителям комбината химического волокна. Кстати говоря, решение о создании  многофигурного  памятника потом «зарубила» Москва, без разрешения которой никаких архитектурных «вольностей», да тем  более в бронзе, совершать  категорически нельзя. Это и погубило скульптора Романцова. Он запил, запил, и  на фоне целого букета болячек, каждая из которых ничего хорошего ему не  сулила, отошёл в места, где никому  никаких согласований не требуется. Все эти люди существовали преисполненные сознанием собственной исключительности и неповторимости. На прочих смертных смотрели победительно и отчасти покровительственно с высоты собственного бессмертия. Иван Павлович так не смотрел, а даже наоборот. У него был  взгляд именно влюблённого человека, хотя она никаких,  решительно никаких поводов к такому смотрению не подавала. Но взгляды  несомненно приятны. И это приятство тревожило более всего. Ей вовсе не хотелось поддаваться иллюзиям, цену которым она хорошо знала. Глупо  в её-то годы отзываться на запоздалые гормональные всплески. Их, согласно науке, быть уже не должно. Надежда Васильевна хорошо знала:  гормоны, словно невидимые верёвочки управляют человеком, будто марионеткой на кукольном представлении. А дёргаемый и рад бы не дёргаться, а ножки и ручки как бы сами собой вверх-вниз, вверх-вниз. Она продолжала держать в руке пяльцы и пронизывать ткань иголкой, тащившей за собой цветную нить, а сама плакала. Не навзрыд, как тогда, когда провожала в последний путь мужа-генерала. Но  тихо и безнадёжно, как плачут в старости, когда физическая немощь охватывает всего человека.
   Да… мужа-генерала…  Слёзы потекли обильнее, мешая вы-шивать. Она опустила руку с пяльцами на колени. Вспомни-лось, как в квартире зазвонил «генеральский» телефон. Она никогда не подходила к нему. Но мужа дома не было, а телефон звонил и звонил. И она сняла трубку:
- Слушаю.
- Оперативный дежурный, - трубка особого телефона прокрякала фамилию докладывающего майора, которая ей ничего не говорила. – За вами послана машина.
- Но комдива дома нет. Он на учениях
- Так  точно. Знаем. Но машина послана за вами. Выходите!
Надежда Васильевна, приученная мужем к тому, что команды не обсуждаются,  но исполняются, наскоро оделась и вышла во двор дома. Генеральская «Волга» уже стояла у подъезда. За рулём сидел незнакомый ей водитель-сержант вместо привычно улыбчивого и услужливого прапорщика Евгения Мартыновича.
- А где Евгений Мартынович?
- Я, конечно, извиняюсь, но там вам всё разъяснят…
- Где там? Что случилось?
- Я, конечно, извиняюсь, но мне приказали: «Садись за руль и комдивову супругу, то есть вас, привези». Я, конечно, извиня-юсь, но подробностев не знаю…
- Да, каких-таких подробностев? – Она поняла: что-то произошло с Дмитрием. Там, на учениях. Какая-то беда.
Машина проехала поворот в переулок, где находились ворота, ведущие в дивизионный городок, и помчалась по улице Красноказарменной. А куда? Если на полигон, где обычно проходили учения частей мотострелковой дивизии, которой командовал муж, надо ехать мимо  завода и дальше через мост и направо. А они ехали по городу. Миновали парк с памятником красногвардейцам. Повернули направо. Вовсе непонятно. Что с Дмитрием? Что? Она поняла: выведывать что-то у сержанта-срочника бесполезно. Видно по лицу,  он  напряжён сверх меры полученной командой и самим присутствием генеральши на заднем сидении. Да и не факт, что сиживал паренёк раньше за рулём холёной генеральской «Волги». Ещё раз повернули направо и Надежда Васильевна поняла, что везут её в гарнизонный госпиталь – старинной постройки здание, выстроенное «покоем» ещё при императоре Александре Первом. Машина подъехала к воротам, выкрашенным краской, какой обычно красят боевую технику. Водитель бибикнул. Ворота отворились. Солдатик со штык-ножом на поясе козырнул и «Волга» покатила по дорожке к «генеральскому» отделению -  дому, стоящему в глубине двора. Когда-то там был храм. Но потом купола и барабаны посшибали лихие красноармейцы в двадцатые годы. А внутри всё  оборудовали для лечения комсостава частей, расквартированных в городе.
   Её приезда ждали. На ступеньках, которые в прежние времена именовали папертью, стоял Николай Степанович – заместитель мужа по политработе. Рядом коротконогий, в непомерно высоком врачебном колпаке начальник госпиталя полковник Нечитайло – виртуозный хирург, и ещё один военный. Кажется, это был новый прокурор гарнизона, которого Надежда Васильевна видела один только раз и то мельком.
- Вот… - сказал Николай Степанович.- Вот… Разрешите доложить… Вот… Не стало комдива.
- И ничего поделать было нельзя, - виновато развёл руками полковник Нечитайло, – два проникающих и одно навылет. Вы, как доктор, понимаете…
- Как? – только и сказала Надежда Васильевна. И если бы не прокурор, подхвативший её вовремя, упала бы на белый плитняк бывшей паперти.
  Уже потом, возвращаясь домой всё на той же «Волге», она осознала: увиденное и услышанное – не бред, не выдумка, но страшная свинцовая правда, со знанием которой ей предстоит жить. Или не жить? Она видела обнажённое тело мужа с тремя отверстиями от пулевых ранений в грудь. Когда  она училась в мединституте, столько трупов  повидала на занятиях по анатомии! Но,  то безымянные трупы из анатомического театра. А здесь муж. Он  утром, когда одевался, собираясь на службу, напевал в стриженые  усы любимую: «Но от тайги до британских морей». А она напоследок, перед выходом из дома, прошлась щёткой  по спине мундира. И вот теперь он мёртв. Да как мёртв! Как!!! Оказывается, никаких учений не было и в помине. Зато в это воскресенье дежурным по штабу назначен был капитан Комаров. Кто такой  Комаров Надежда Васильевна знать не знала. А её Дмитрий знал, что капитан Комаров в части на су-тки. А ещё он знал: капитанова жена Любочка дома одна. К ней-то он и решил заехать, как делал это не раз и не два. Капитан же Комаров давно подозревал и даже знал, что  Любочка гуллива. Он  ненавидел её за тот позор, который рано или поздно настигал его, когда он переезжал к новому месту службы. Всякий раз она с кем-то да спутывалась, как будто ей не хватало его, Комарова вполне молодого кованого тела. Ему бы послать её подальше. Но на такие истории политработники смотрели косо. Это могло повредить продвижению по службе, которую он ценил до самозабвения. А главное, он любил Любочку, ох, как любил ненасытную эту дрянь, способную сподвигнуть даже мёртвое тело восстать из гроба. Но в это раз нашла коса на камень. Он, неожиданно для самого себя, шагнул по служебной лестнице через звание. Должность, на которую его назначили, была подполковничьей.  Такое назначение предполагало рост по службе уже в обозримом будущем. Майор Зверев, который метил на это место,  заметил, как бы впроброс,  в присутствии других офицеров: «Везёт же некоторым. И по службе успехи, и с женой…». Сказанного стало достаточно для  срыва резьбы. Поскольку пистолет ему  положен, как дежурному, он с кобурой на поясе сел в свой «Москвич» и поехал домой в ДОС – дом офицерского состава. Подъезжая, заметил возле гастронома наискосок от дома генеральскую «Волгу» с чёрным номерным знаком. Прапорщик – водитель сидел за рулём. Комаров подрулил к своему дому, но не к подъезду. Вышел из машины и услышал: кто-то бежит. Оглянулся, увидел генеральского прапорщика, который явно его пытался догнать - видно заметил и сообразил, что беды не миновать. Капитан шагнул в подъезд, дождался, когда Евгений Мартынович заскочит, и наотмашь ударил его рукоятью пистолета по голове. Прапор даже не успел среагировать на замах и кулём повалился на бетонный пол подъезда, потому что рукоять попала ему прямо в висок.  Капитан  Комаров, не оглядываясь, в один  мах взлетел на третий этаж и, навалившись всем своим натренированным телом, сходу вышиб хилую квартирную дверь. Конечно же! Вот они! В постели! Голенькие! Генерал только и успел зачем-то на свою голову скомандовать: «Смирно». Палец капитана трижды нажал на спусковой крючок: Бах-бах-бах! Трижды содрогнулось генеральское тело, когда пули пробили обильно волосатую грудь. Заверещала Любонька, натягивая одеяло себе на голову. Капитан Комаров хотел и её грохнуть, а потом и самому застрелиться, но запах стреляного пороха подействовал, как  нашатырь. Он словно очнулся и сел на краешек постели со стороны жены, приговаривая: «Всё, Любочка, всё… Всё! Успокойся ».
  Хоронили генерала, как и следовало ожидать, без особых почестей. Но и без позорящей огласки. Суд над убийцей проходил в Военном Трибунале, и никакой прессы там не было, да и не могло быть в те, уже совсем далёкие советские времена. Но разговоры множились. Правда, Надежду Васильевну жалели, и злая молва миловала. Квартиру ей и сыну Олегу оставили. Тем более, с ними жила ещё и её мама. Только сняли телефон защищенной связи и вывезли  все бумаги и оружие генерала вместе с сейфом. Как водится, через какое-то, но не короткое время разговоры в городе  сами собой сошли на нет.  Дивизию  передислоцировали. А Надежда Васильевна ушла в себя и воспитание сына. Замуж больше не вышла. Мужчин у неё не было, если не считать случайного срыва с профессором-эндокринологом из Грузии по имени Шалва. Она как-то поехала на всесоюзную конференцию эндокринологов в Москву. В последний день, когда участники банкетничали в гостинице «Россия» на самом верху, Шалва сидел рядом, шутил, и всё подливал ей вина… О дальнейшем она потом вспоминала с чувством стыда и раскаяния. Хотя в тот момент ей было несказанно хорошо. И вот теперь Иван Павлович с его ожидаемым и всё-таки неожиданным в её-то годы предложением руки и сердца. Да к тому же с венчанием в храме Дома. Как тут не плакать!
    А в Доме вовсю шла подготовка к празднику. Рябоконь, вместе с непременным своим придурковатым помощником, притащил из  сарая трёхцветный лозунг « С Праздником». Две женщины из обслуживающего персонала протирали лавочки и пол эстрады. Электрик, он радист, Голомазов  установил динамики и микрофон и  успел проверить уровень громкости звука. Впереди была так называемая Торжчасть с вручением почётных грамот и благодарностей персоналу. А следом – концерт, где и должен был выступать Иван Павлович и хор обитателей  Дома с поэтичнейшим названием: «Ивушка неплакучая», бабульки из которого пели также в храме во время службы. Анемподист вышел во двор и тут же, на правах старого знакомого, был привлечён Рябоконем  к работам по благоустройству территории: «Неча груши околачивать». Ковыляя по двору, Анемподист поглядывал вокруг. По периметру  росли клёны, уже теряющие свою листву. За клёнами проглядывала ограда. Привычным, «лагерным» взглядом Анемподист отметил: ограда хилая и колючка, что шла поверху, доброго слова не стоит. Видно, что делали  не специалисты из Управления исполнения наказаний.  При  желании опытному человеку ничего не стоит продёрнуться. При входе – КПП с одним охранником, шлагбаум.
- Тут у вас с выходом, я смотрю, на волю строго, - как бы  в проброс,  поинтересовался он у Рябоконя.
- Да, уж! - Ответил тот. –   Здесь не забалуешь! До ближайшего винного три остановки на автобусе. С  этим, - он выразительно щелкнул пальцем по ост кадыку, - строго. Проволовка на заборе под напряжением
Но это, пожалуй, он врал. Что такое «под напряжением», Анемподист знал. А Гриша – хоть и  дурак-дураком – хитровански улыбнулся, подмигнул Анемподисту и добавил, изобразив руками взмахи крыльев : « Вороны на лету  и гадят, и летают…».
  Вообще в Доме в этот день было заметна та особая взволно-ванность, какая  охватывает всякий казённый дом перед прибытием начальства. Загодя стало известно: обитателей дома должна облагодетельствовать своим визитом новый министр областного правительства, назначенная попечительствовать над богоугодными заведениями.  Конечно, таким простым и грубым людям, как Рябоконь новый ли, старый ли министр был, как  до известного  дамского места дверца. Никто на его должность не метил. И он никого не подсиживал, зато  мог  подъелдыкнуть при случае кого угодно, хоть бы и директора. Но это язык у него так устроен и на ум никакого окорота – что думает, то и го-ворит. А всё потому, что руки золотые. Никто не мог понять, что его держало на работе в Доме при такой-то низкой зарплате. А он никому не рассказывал. Работал и работал, можно сказать, «за спасибо» от бабушек и дедушек, которые, хоть и на полном гособеспечении горе мыкали в  Доме, всё равно нуждались в его умениях: прибить, привинтить, пришпандорить. Был бы  женат – жена заставила бы  поискать лучшей доли. Но жена… Ах, не любил он об этом! Вот о тихой своей радости – рыбалке поговорить мог, особенно с понимающим человеком. Но каждую неделю: и зимой и летом  навещал женину могилку на близком кладбище, где, кстати, хоронили  постояльцев Дома. Сам могилку изукрасил и благоустроил, как мог. Приходил, на лавочке сиживал, покуривал. Зимой синичек кормил. Летом к нему воробушки слетались. А с весны в посадке вдоль  могилок соловьи пели. Да забористо так…
  Но больше всех трепетал директор Дома СанСаныч Тонких. Как ему казалось, он даже похудел от переживаний. Да и следовало похудеть. Но не худелось, потому что жизнь была устроена и даже благоустроена. И до пенсии оставалось всего ничего – меньше шести лет. Да вот закавыка; В губернии прошли выборы и взамен старого, привычного, с советских времён памятного, почти родного, вынырнул новый губернатор. Именно вынырнул! Был кем-то, непонятно кем, стал директоришкой какого-то завода лёгких металлоконструкций, получил грант на развитие, с умом им распорядился, засветившись в Москве на каком-то форуме-кворуме, и пошло-поехало. А теперь – неоспоримый обладатель области, на территории которой запросто могло бы разместиться две Бельгии вместе со всей штаб-квартирой Европейского Союза. Пришёл, и первое, с чего начал, стал везде ставить людей из своей «команды». Смех и грех, как в футболе. Провереннейшие кадры выпинывались с поля. А взамен – всякий-разный, лишь бы «свой». Тут поневоле и задумаешься: жил себе, трудился, коробчил,  выстраивал перспективу жизни – пенсия недалеко. А зачем, когда раз – и не в команде, и даже не на скамье запасных. Было о чём задуматься директору Тонких: и в личном плане, и в плане трансформации общественных отношений в постсоветском государстве, именуемым эрэфией. И ничего хорошего  для себя лично он не ждал. Сколь-нибудь  заметного приварка  должность не давала, однако, номенклатура, директорство и персональный автомобиль. И ничего, что «Нива», хоть и с красным крестом на заднем стекле. У других и этого нет. Вот он и носился по Дому, с несвойственной ему прытью, подобно пушечному ядру, сокрушая подчинённых, а заодно и контингент, за явственные упущения, особо бросающиеся в глаза тому, кто не часто балует вверенное ему учреждение пристальным вниманием. Надеется было не на что, но за надежду, как говориться, платить не надо. А всё халявное СанСаныч мимо себя сроду не пропускал
  Даже обитатели дома были вовлечены в процесс наведения порядка. Конечно, кроме лежачих. Вот и Потычиха опростала лоток, которым пользовался кот Квасок. Ей единственной во всём доме разрешили держать кота с условием его безусловной кастрации и с целью унятия её неостановимой сквалыжности. Было дело, принял Квасок единожды муку. Но зато раздобрел, стал пушистым и вальяжным. И главное: перестал  оставлять вонючие свои метки. Потычиха холила и лелеяла любимца. А Кваском его назвала за то, что шипел  время от времени, как бутылка хорошо выбродившего кваса, когда её открывают. Но на глаза министру со свитой лучше бы коту не попадаться. И по-несла Потычиха любимца своего во временную ссылку на проходную. Там сегодня дежурил отставной мильтон Закутный. С ним Потычиха ни разу не скубалась. А то, что он сможет  укротить кота, сомнений не вызывало. Но по дороге, идучи коридорами корпуса, решила  ещё одно важное дело сделать. Она постучала в дверь комнаты, в которой жила Надежда Васильевна. Услышав «входите», вошла. Надежда Васильевна сидела в кресле всё с теми же пяльцами. Но не вышивала, думая о чем-то своём. Она немало удивилась визиту своей, так сказать, политической противницы да ещё с котом в руках. Кот смотрел на хозяйку комнаты, как ей показалось, недобрыми, янтарного цвета глазищами.
- Значится так, - начала Потычиха довольно решительно. – Ты, товарка, Ивана оставляешь в покое.
- Ивана Павловича?
- Да-да! Его! Все видят, как ты к нему шьёшься. И тю-тю, и растю-тю. А он вас, коммунистов не жалует. Да и кто вас жалует? Никто. На последних выборах губернаторских сколь за вашего кандидата голосов? А? Мухи на помойке и то больше точек наставили!
- Милая, но за вашего тоже не больно много…
- У нас своя тактика! Вольфыч и не велел тужиться. Мы исключительно ради соблюдения баланса. Но я  не за этим. Ты Ивана оставь в покое. Он – мой. Я с ним, эвон сколько,  сердечные беседы веду. А тут – ты.  Я уж за ним пригляжу. Пообиходничаю. Тебе же некогда. Ты ячейкой рулишь. И вообще вся седая, как селёдка нечищеная.. . и мочу, поди, не держишь. А я ещё всё могу.
Кваску стало скучно, и он зажмурился.
- Знаете, - сказала Надежда Васильевна, шли бы вы, милая,  своей дорогой, как шли. А из комнаты моей пойдите прочь.
- Я-то пойду. – Сказала Потычиха таким наполненным голосом, что Квасок вновь открыл  янтарные свои глаза. – Я-то пойду. Но ты помни, что я сказала. – И она вышла в коридор, саданув напоследок дверью.
Движение было резким, звук закрывающейся двери -  громким. Кота это возбудило. Он соскочил с высокой груди хозяйки и. задрав пушистый хвост, побежал по коридору.
- У, стерва! – выругалась Потычиха в адрес двери, за которой осталась соперница. И заумоляла: - Квасок, Квасочек, Куда же ты, красавчик ты мой! Кыса-кыса-кыса!
     Но вот, наконец, и свершилось то, ради чего и затевался весь сыр-бор с праздником в Доме. Всё было прибрано, постояльцы сидели по комнатам, как было строго-настрого приказано. Шлагбаум пошёл вверх и во двор вкатился джип министра, нарядный, как новогодняя ёлка. Главное украшение – номер с нолями, согласно которому можно ездить везде, всегда и невозбранно. Следом въехал автомобиль внешности почти неприметной, однако, украшенный фигуркой прыгающего ягуара  на капоте. Третья машина выглядела до неприличия просто – мик-роавтобус «Газель». Из «Газели» один за одним выскочили четыре телеоператора. А завершил кавалькаду фургон, несущий на борту логотип известной всему городу сети гастрономических магазинов.   Открылась  передняя дверца джипа, выпорхнула благоухающая, словно свежевскрытая печатка импортного мыла, помощница министра. Она предупредительно открыла заднюю дверцу джипа и теперь только явила себя миру министр. Из «ягуара» же, как мазь из тюбика, выдавил своё  тело некий господин с лицом, на котором самой примечательной чертой был  рот, похожий на сомовую пасть. Похожести немало способствовали усы, свисавшие по углам влажных губ. Камеры заработали и навстречу министру шагнул  директор Дома СанСаныч Тонких, вырядившийся по этому случаю в белый халат. Рядом, с расписным блюдом, накрытым расшитым рушником и возлежавшим на рушнике караваем, улыбалась сладко-сладко сестра-хозяйка, которую все за глаза звали Дылдой, а в глаза Галиной Егоровной. Министр – женщина того неопределенного, но прекрасного возраста, который наступает для руководящих дам сразу после сорокалетия, выглядела скромно, но с некоторым намёком на то, что многое в жизни уже удалось. На ней прекрасно сидело светло-коричневое платье, удачно облегающее всё, что нужно выказать деловой особе, чтобы никто не посмел усомниться,  что имеет дело, прежде всего, с женщиной, Но в то же самое время, ничего избыточного не выпячивая. Воротник-стоечка платья, обшлага рукавов и самый низ оторочены собольком, но скромненько, без намёка на излишества. Министр попыталась, согласно обычаю, отколупнуть корочку, дабы обмакнуть в соль, но не тут-то было. Повара явно переста-рались во имя  картинности каравая. Корочка не поддалась ухватистым, но мягким пальчикам министра. Она  сверкнула раздраженно  глазами на Тонких,  и тот обмер в первый раз за время визита. Но, тут из-за спины шагнул человек с сомовьим ртом, ухватился за край каравая, и легко выворотил приличный- таки кусманчик. И  сам заглотнул, похоже, не разжёвывая. Министру также досталось обозначить, что она восприняла жест фольклорного гостеприимства. И в этот момент на весь двор зазвучало громкое «Уряяяя!»
СанСаныч повернулся всем телом.  Конечно  же,  не уследили! Во двор по пандусу, прямо с балкона номера на своей коляске съехал Абдулла в неизменном камуфляже. Ох, этот Абдулла! Его доставили в Дом прямо с перекрестка, на котором он, безногий и скособоченный уже несколько лет разъезжал на коляске своей инвалидной, занимаясь попрошайничеством у водителей машин, притормозившим на красный сигнал светофора. Кто подавал, а кто и отворачивался. Тем, кто отворачивался, Абдулла плевал на стекло. Тех, кто подавал, он крестил, приговаривая: «Рахмат». Однажды сам Миклашевский – глава города притормозил у светофора и отвернулся от просящего, потому что, выступая на аппаратных совещаниях, многажды указывал подчинённым и бестолковому начальнику УВД города, что областной центр негоже отдавать на откуп попрошайкам, бичам и цыганам. А тут – вот он, тот самый нежелательный элемент. А когда Абдулла плюнул, терпение градоначальника кончилось. Тут уж патрульная служба постаралась. Абдуллу препроводили вместе с коляской куда следует. А там скоро выяснили, что Абдулла – не бич, с которым можно особо не церемониться, а куда хуже! В доме с просевшей крышей, где он жил со старухой-матерью, нашли два ордена «Красной звезды» и медаль «За отвагу», вручённые Абдулле в Афгане. А его побратимы-афганцы совсем даже не последние люди, с которыми даже Главе лучше не связываться. Пришлось переигрывать намерения по пресечению. Так Абдулла стал обитателем Дома, тем более, что мать обыска с пристрастием в доме не пережила, умерла на месте и по мусульманскому обычаю в тот же день предана земле.
  Агнессе Ларионовне  удалось купировать дальнейшие поползновения Абдуллы, который слушался её так, как не слушался даже своего командира разведбата. Но всё равно заплелось это лыко в строку, как понял СанСаныч. Тем более,  к Абдулле тут же присосалась пиявочка ненасытная из местной  газетёнки – «дочки» московского издания с громким именем, той, что однажды славило Дом с подачи Потычихи. И Сан Саныч почувствовал уже  не содрогание, но бездну  под ложечкой!
- А вот я вас приглашаю товарищ министр…
И опять мимо цели! Не любила новый министр это слово. Не любила! Разве только тайно, на закрытых встречах бывших ответственных комсомольских функционеров, в очень узком кругу и почти интимной  обстановке, куда под покровом сумерек приезжал  общнуться по-простецки и теперешний губернатор, слово это высвобождалось из-под напластований дам и господ, каковыми они стали теперь, заматерев и почуяв, что к прошлому  возврата нет. Нет! Нет! И ещё раз нет! Так что, опять промашка. Тонких почуял своим носом, натренированном в прошлые времена, что явственно начало припахивать мертвецкой. А тут ещё и в шею вступило. Видно, давление подскочило.  Но дальше-то всё должно  идти по плану. И он начал показ вверенного учреждения с посещения лечебно-диагностического блока. А там есть, что показать; Во-первых, кабинет УЗИ-диагностики. Кабинетом заведовала жена СанСаныча. Гордостью Дома был аппарат УЗИ, который, правда, имел один маленький, но существенный недостаток. Он  уже  месяц не работал. Но с виду был вполне исправен и даже лампочки на нём загорались. В  кабинете  чисто, припахивало карболкой и недавним кварцеванием.  Стены  украшены плакатами и инструкциями. Особо вы-делялся красочный плакат, посвященный  профилактике ВИЧ-СПИД. Были в медблоке  кабинеты гинекологический и зубоврачебный, лечения электротоком. Гордость СанСаныча за содержание медблока и его оснащённость так и сквозила в каждом его пояснении, Он распалился и так сладкоречиво описывал работу гинекологического кабинета, будто и сам неоднократно садился в кресло и укладывал свои толстые икры ног на рогульки. После медблока Сан Саныч повёл гостью по комнатам постояльцев. Не повсюду, но с выбором. Чуть сзади ступал гастрономический шеф. А  вместе с гостями поспешали телевизионщики. Новый министр оказалась дамой дотошной. Заглядывала повсюду, даже  проверяла наличие пожарных рукавов. Беседовала с постояльцами, задавая одни и те же вопросы. Правда, в ответы не очень вслушивалась. Идучи чуть позади министра, директор с ужасом, как бы заново, видел всё то, к чему притерпелись глаза: и вздувшийся линолеум, и обшарпанные стены и оббитые инвалидными колясками углы штукатурки на углах и всё-всё убожество, в котором он был виноват лишь отчасти. Дом обойдён финансированием до такой степени, что и украсть здесь  особо нечего. Если не считать некоторых предметов мягкого инвентаря и некоторой толики продуктов с пищеблока. И то, только потому, что не все обитатели дома  не всё могли съесть в силу разных обстоятельств, включая посты и состояние стариковского здоровья. Так что, и персонал имел возможность попользоваться, и повара с пустыми сумками домой не уходили. Под  вечер шли, переваливаясь на настоявшихся за день ногах, отягощённые съестным  и для семьи, и даже для любимых собачек. Коллектив пищеблока был сложившийся и дружный.
  А Иван Павлович плохел. И он сам чувствовал, как бессилие охватывает его, добираясь до самого-самого донышка. До самого заветного – профессии своей, которой  дорожил, поскольку мало оставалось того, чем можно дорожить. Началось всё  утром, в момент подселения Анемподиста. Потом – разговор с Надеждой Васильевной о венчании, который также не добавил хорошего самочувствия. Неподъёмным показался даже утюг в гладильной комнате. Он не привык болеть и, как многие мужики, испытывал чувство предубеждения к докторам, в особенности  к докторицам. А мужиков-докторов в Доме не водилось. Докторицы заставляли раздеваться. Просили показать язык, зачем-то требовали каждый раз встать на весы и тыкали холодными кружочком фонендоскопа в спину: «Дышите - не дышите». Всякий раз  Иван Павлович вздрагивал от приказания не дышать. А холодок фонендоскопа почему-то  будил в памяти слово «прозекторская». И вообще: ему казалось,  самое звание «Заслуженный работник культуры РФ» должно  предполагать несколько иное отношение к нему, как носителю  необыкновенного, штучного умения раскрывать смыслы слов и доносить эти смыслы до слушателей. Конечно, в минуты дружеских застолий, он и сам мог поулыбаться над гошиной дразнилкой «ЗасРаК». Но никому другому этого не позволял.
- А ты пойди, заслужи, - оборвал он как-то  молодого нахала - баяниста Вострикова, который однажды прилюдно назвал его, не единожды лауреата Ивана Клюкву именно так. – Служить искусству, молодой человек, это не по свадьбам пресмыкаться, рубли мятые сшибать, пьяной сволочи аккомпанировать.
Упрёк был так себе… Скверный, можно сказать. Востриков – парень талантливый. Инструментом владел виртуозно. А свадьбы? Что тут зазорного? Не воровал же, а зарабатывал! Людям радость нёс и приработок для молодой жены и трёх деток, которыми обзавёлся за два года. Эти свои слова Иван Павлович долго не мог сам себе простить. И даже, когда Вострикова пригласили в Москву, и он уехал, Иван Павлович носил в себе эту вину. Вот и сейчас о ней зачем-то вспомнил. В последние месяцы он часто перебирал в памяти свою жизнь, и она открывалась перед ним новыми гранями. И он понимал, что многое он пустил под нож во имя… Во имя чего? Успеха? Звания  этого дурацкого? Вот уже,  жена его первая, арфисточка та самая скончалась, и вторая при смерти. И дочь… Не пишет. Не звонит. Только на Новый год … Он ей не нужен, потому что ему она в своё время была не нужна. Не то, чтобы не нужна, он её любил, но как-то… Как это сказать, … Отстранённо что ли? Он лежал на кровати и перестал мысли под уздцы водить. А сердце давило всё сильнее. Амнеподист сидел на кровати, поджав ноги колечком и читал книгу.
- Повезло же, - думал Иван Павлович, - что сейчас этот стран-ный, весь разрисованный человек рядом сидит. Куда бы как хуже, если никого.
- Вот! – сказал Анемподист, закрывая книгу.  – Наш поэт, вовсю наш! Его бы на зоне уважали. И он продекламировал:
Я – Франсуа, чему не рад,
Увы, ждёт смерть злодея.
И сколько весит это зад,
Узнает скоро шея.
Вот, как надо! И по фене стихи писал.
- Вы его раньше читали?
- Где там! Я из французов только БальзакА, Жюль Верна, да роман «Отверженные» раз пять перечитывал.
- Что так?
- А там  -  правда. Я сам, как Жан Вальжан, жизнь прожил. Как с юных лет понесло, понесло…- Анемподист вспомнил своего Жавера - участкового, который определил направление течения его жизни.  -   Подхватило и понесло.  И  к берегу хрен выгребешь. Или не так?
Иван Павлович не ответил. Он лежал с закрытыми глазами и про себя вспоминал  отрывок из поэмы Твардовского «Василий Тёркин», который вознамерился сегодня прочесть перед обитателями Дома и неведомым ему грозным начальством: «Я солдат ещё живой». Хотя среди постояльцев ни одного участника той войны  давно уже не было, но, как ему казалось, строки эти  про всех обитателей Дома  Престарелых или, как он официально, скромно, но со вкусом поименован на табличке перед входом в проходную: «Областной Дом Ветеранов».  За текст, за историю про истекающего кровью раненого бойца и его беседу со смер-тью, он не сомневался. Натренированная память ему не изменяла. Но  общее состояние… Надо же было вставать, упаковываться в концертный костюм, бабочку - непременно, вбивать отекающие в последнее время ноги в лаковые концертные туфли… а потом выйти на эстраду…
-  Вань! Ты чё? Может  сестру или доктора вызвать? – Анемподист и ноги спустил с кровати, нашаривая култышками разношенные свои  туфли. Он заметил бледность лица соседа и услышал дёрганое дыхание
- Спасибо. Не надо. Не надо, Анемподист Михайлович. А вы и впрямь с первого раза текст схватываете?
- Что же я, в натуре, врать, что ли буду? – обиделся Анемпо-дист.
В этот самый момент дверь без стука отворилась и в комнату вошла министр и свита. Но прежде министра ввернулся оператор сугубо губернаторского телеканала, которому вменено улавливать чуткость госпожи министра во всех её проявлениях  по отношению к обитателям Дома. Картинка, однако, монтировалась явно не из лучших; Тут министр, а тут этот в майке, блин, весь истатуированный, блин!  Оператор поэтому буквально размазался по стене, чтобы держать в кадре министра и другого, более благообразного лежачего старикана и нарядный плакат на стене. Эта встреча с именитым постояльцем, как предвкушал СанСаныч, должна была стать кульминацией обхода жилого корпуса. Корпус-то сравнительно новый, люксовый коридор  -  половичком застелен, в вестибюлях установлены телевизоры для коллективного просмотра, растут фикусы в кадках и постояльцы здесь почище, не такие пролетаристые. Однако, и тут подстерегал казус. И  дело  отнюдь не в татуированном. С парочкой таких же расписных они уже встретились – и ничего.
-  Рада вас видеть, - пропела министр, обращаясь к Ивану Павловичу.  –  Помните, я вам сказала, что всё у вас устроится и будет хорошо.
Иван Павлович этот разговор ох, как помнил! В филармонии сменился руководитель. Вместо Леонилы Альбертовны, кон-серваторки, души трепетной, наполненной музыкальными грёзами, произносившей слово «филармония»  с какой-то особой интонацией, с придыханием даже, но абсолютно внекоммерциальной,  появился новый персонаж. Откуда он взялся – никто не знал. То ли из Ярославля, то ли из Кызыла… В филармоническом мире все, так или иначе, друг о друге знают. А этого -  человека с фамилией, похожей на итальянскую, не знал никто. По системе он не прослеживался никак.
- Матвей Исидорович Макарон! – Так он был представлен коллективу чиновницей из управления культуры, исполнявшей на тот момент обязанности начальника отдела взаимодействий и комплектаций материальной базы. –  Матвей Исидорович опытный менеджер, знает, как деньги зарабатывать. Так что, с зарплатами, думаю,  у вас будет повеселее. Упоминание о зарплатах прозвучало боле, чем уместно. Макарон, так Макарон! Мало ли какие фамилии гуляют по свету! А может, папа у него из Италии? Или дедушка? Хотя,  итальянцы именуют макароны пастой или, на худой конец, спагетти… Под эти шуточки. подогреваемые ожиданиями, коллектив и не заметил, или постарался не замечать, как с гастрольной афиши слетела, как шутили, Завалдайская хоровая капелла, отменились гастроли бурят-ского ансамбля народных инструментов и прочая неудобопродаваемая часть репертуара. Затем пострадал детский хор «Родничок» - принудительно иссяк.  Часть  гримёрок отдали под радикальное расширение буфета с горячительными напитками и горячими же закусками. Теперь стало возможным пускать во внеконцертные часы публику с улицы. Следом затеяли проводить по субботам полуночные караоке-шоу, на которые повалили непритязательные посетители, жаждущие чего-то такого не вполне материального, но одновременно и приобщения к славе, а также призов от спонсоров из сетевого супермаркета электро-ники. Дошла очередь и до филармонического общежития. В один прекрасный день Иван Павлович стороной узнал, что общежитие, в котором он столько лет прожил, и которое считал своим домом, продано некой фирме. А та объявила о предстоящей реконструкции, с последующей возможной перепрофилизацией новоприобретённого строения.  Ивана Павловича сравнительно вежливо попросили  освободить добровольно нежилое помещение во избежание привлечения судебных приставов. Иван Павлович, как последний из оставшихся в коллективе Заслуженных работников культуры и ревностный член профсоюза пошёл к Макарону.
- Не знаю, - развёл пухлыми руками Матвей Исидорович. – Уж, и не знаю, чем вам помочь.  Общежитие – имущество для филармонии не профильное. Обременение для бюджета. Нужна оптимизация расходов. Мы теперь не учреждение какой-нибудь культуры, уважаемый! Мы теперь структура по оказанию услуг населению. Понимаете: услуги населению!  Население нуждается в услугах. Оно жаждет их получить. И в классификации  статей бюджета услуги есть, а культуры, как таковой, нет. Это не я придумал. Это – там! – И Макарон поднял свой толстый палец,  как  жезл регулировщика движения, указуя куда-то в высшие и недосягаемые для обычного разумения сферы. - Да, к тому же, с января вы уже не в штате. Мы ваш отдел исключили уже из штатного расписания. Вы сегодня официальное уведомление в письменной форме получите, многоуважаемый.
-  Как?
- Судите сами, многоуважаемый: отдел чтецкий есть, заведую-щий  - вы. То есть, в наличии. А где чтецы? Чтецы где? Чтецкие услуги мало востребованы. Сегодня время шоу. И этих, как они там, перфомансов.  Народ требует  зрелищ. Услуги по части зрелищ, многоуважаемый, предполагают две простые вещи: минимизацию расходов и максимилизацию доходов. Вы в эту схему не вписываетесь. – И Макарон вновь поднял свой указательный палец, теперь походивший на восклицательный знак.
   Иван Павлович заторопился в Управление Культуры, где состоял  многолетним членом Коллегии. Там его встретила давешняя Исполняющая обязанности, представлявшая Макарона филармоническому коллективу. Усадила, лично заварила пакетик чая, поинтересовалась с  лимоном или без, выслушала как бы внимательно. А затем  упрекнула:  « Иван Павлович! Как я вам сочувствую! Но вы, талантище вы наш, ничегошеньки же не делали, чтобы решать свой личный квартирный вопрос. Ни-че-го-щеньки же. Ждать милостей от природы можно было при прежней власти. Тогда бы и хлопотать. Но теперь квартиры не дают и не выделяют. Теперь надо платить, покупать, то есть. Брать в банке кредит. Или ипотека – чем ни выход. Но в ваши-то годы и с вашей-то пенсией… А родные у вас есть? Сын? Дочь?». Исполняющая  говорила  неприкрытую правду. Всю жизнь он, бестолковый,  был ходатаем  по чужим тяготам. Вступался за людей смело, а то и вовсе дерзко. Как-никак,  лауреат всероссийских и всесоюзных даже конкурсов, профсоюзный активист, член коллегии, известная в области личность, с которым сам бывший губернатор, а ещё раньше, первый секретарь лично и всегда за руку здоровались! А о себе самом… всё надеялся,  вспомнят. Глупо, конечно…  его и друг Гоша в простоте душевной простофилей называл. А теперь та самая бывшая Исполняющая, по сути, выпроводившая его под чаёк с ли-моном из кабинета ни с чем, вознесенная ныне волей новоиз-бранного губернатора до министерского поста, но не по части культуры, а по части социального обеспечения с ним говорит со всей головокружительной высоты своего положения. Злые языки поговаривают, вознесёна на эту немыслимую высоту благодаря неким особым отношениям  с губернатором,  когда он и не думал о губернаторстве. Впрочем, это всего лишь наветы, неправда, только похожая на правду. Про начальство чего только ни плетут. Как будто губернатор – мужчина вполне видный - кого помоложе не может найти!  И, тем не менее, говорят! Вот и СанСаныча заранее предупредили знающие люди. Да, видно, попусту - твою мать, твою мать!
- Да, Ксения Егоровна, - сказал Иван Павлович - Да!!! Всё устроилось. Именно так, как вы говорили. Я в Доме Призрения…
- Ну-ну…
- А что? Накормлен, обстиран, призрен, так сказать.
- Каждая неделя баня. -  ввернулся в разговор СанСаныч. - Каждую. Но строго по медицинским показаниям. Строго! Это помимо душа в санузле. И бельё регулярно. Да ведь, Иван Павлович?
-  Регулярно, - подтвердил Иван Павлович. – Этого не отнять
- Вы, говорят, сегодня будете нас радовать.
- Буду, Ксения Егоровна.
- Что-нибудь лирическое?
- Отрывок из «Василия Тёркина».
- О! Патриотическое! Это сейчас в тренде! Это бы и  губерна-тор послушал. Он на аппаратном совещании указывал, что надо использовать патриотический настрой ветеранов.
- А это кто же у вас в соседях? – спросила министр и подбородком повела на татуированного Анемподиста.
- Да это… - начал, было СанСаныч.
- Горелый Анемподист Михайлович. Новопоступивший. – Вскочил с кровати Анемподист. - Прибыл сегодня, подселён временно. Инвалид второй группы. Ранее судимый. Но я завязал, гражданка начальница! Чесслово!
- Да! – только и сказала министр. – На свободу так и надо – с чистой совестью.
- Век воли не видать, гражданка начальница, если оступлюсь! – Бодро, как на отрядном построении,  заверил Анемподист.
Министр поморщилась, а Иван Павлович уловил в глазах соседа  некую дьяволинку. Когда министр и все, кто с ней, вышли,  и в комнате стало легче дышать, Анемподист с сочувственной ноткой в голосе заметил:
- А тяжело тому мужику, который этакую обрабатывает…
- Это почему же, Анемподист Михайлович? – Поинтересовался Иван Павлович.
- Дюже сдобна. По всему видать - гонористая!
   Надежда Васильевна также готовилась к праздничной цере-монии. Всё, что надо было сделать, она сделала, всех своих предупредила, чтобы никаких глупостей и необоснованных претензий вдруг ни выставили новому министру. Если спросят, говорить она будет сама и Николай Харитонович Гудошников – скособоченный артрозом, замсекретаря ячейки, много лет проработавший в системе Снабсбыта. Он имел привычку говорить  медленно, словно ощупывая языком слова, прежде, чем выпустить их изо рта. А потому его медлительная речь всегда казалась более многозначительной, чем была на самом деле. Но не об этом думала Надежда Васильевна. Всё, что связано с праздником – абсолютная ерунда. И вообще, зачем ей это было нужно? Ей это не нужно вовсе. Она вновь, было, всхлипнула, но за-давила волевым усилием рыдание, подкатившее под самое горло.
- Боже, - подумала она. – За что, за что всё то, что с ней происходит сейчас? За что? В чем она провинилась перед богом, про которого знала с юных лет, что его нет. Надежда Васильевна хорошо запомнила тот момент, когда они с мамой и бабушкой шли в Кашире домой с электрички  по площади мимо высокой шестиярусной  колокольни и ободранного до  кирпича здания церкви.
- А это что? – Спросила она, словно впервые увидев,  и указа-ла варежкой на церковь
-  Была церковь. – ответила мама
- А там внутри что?
Бабушка Прасковья Ивановна, шедшая рядом, с особой интонацией в голосе произнесла:
- Там боженька, унученька. И все Силы Небесные. А церковь называется Введенская.
-  Бабуля, - с лёгкой укоризной в голосе сказала мама, - там склад.
И, правда: двери храма-склада распахнулись, и  оттуда  вышел мордатый мужик в  кубанке набекрень и засаленной стёганке. Оглядевшись  и обнаружив того, кто ему нужен, он рявкнул во всю площадь водителю грузовичка-полуторки:
- Ну, ты, водило-заводило, сдавай задним бортом.
- Я же говорила, склад. – Сказала мама. – Никакого там бо-женьки, Надюша,  нет. Всякая тара, да мужики-матерщинники.
И она поверила маме.
А потом она выросла и поступила в Первый Медицинский  в Москве. Отучившись, проведя часы в анатомичке, сдавши на «отл» и топографическую анатомию, и научный атеизм, Надежда Васильевна затвердила наверняка:  в человеке нет ни одного органа, ни  одной желёзки, где могла бы таиться  душа. А потом и вовсе было не до божественного. Замужество, мотание по разным гарнизонам следом за мужем-лейтенантом, рождение дочери, которая умерла во младенчестве от дифтерита, опять переезды, рождение Олеженьки, генеральшество… Смерть генерала. И долгая-долгая жизнь, по-сути,  затворницы монастырской, гордившейся своим воздержанием во всём, кроме работы и так называемой общественной деятельности, в котором она находила спасение и оправдании своему существованию. И вот теперь, оставшись одна, всё чаще спрашивала сама себя: «Зачем, во имя чего жила? Зачем лишала себя простой женской радости, наслаждения, вполне оправданного с точки зрения физиологической, единожды только сорвавшись когда-то в Москве». После позорной смерти генерала, изматывающей церемонии похорон, она и думать не хотела о близости с мужчиной. Надежде Васильевне представлялось диким лечь с каким-то мужчиной в постель и отвечать на его устремления, подчиняться прихотям чужого тела и, в конце концов, терять сознание, принимая его. И,  становясь рабою  всеохватывающего блаженства от наполненности, к которому приучил её когда-то, в незапамятные, лейтенантские ещё времена, муж-генерал, , кобелина
- Боже, - шептала она, - не замечая, что молится богу, которого нет и быть не может с точки зрения научного атеизма, законов анатомии и физиологии и прочей научной кабалистики, которой нашпиговывала её высшая школа. – Боже! За что это всё? И теперь, перед самым исходом этот смешной, самовлюблённый, талантливый, абсолютно житейски беспомощный человек, предложивший свою руку и сердце и даже готовый под венец пойти и, судя по всему, любящий её. Самое ужасное, что и она влюбилась в него, именно влюбилась, как девчонка какая-то, соплюха, девственница нецелованная. И  никакая вышивка крестиком не могла отвлечь от мыслей о нём. Но она знала об Иване Павловиче и то, что могла знать только доктор. Надежда Ва-сильевна, конечно же, не могла официально заниматься врачебной деятельностью, но с удовольствием консультировала молодую терапевтшу быстроглазую Флюру Ахметовну, которая вела приём пациентов Дома. От неё–то она узнала и анализы Ивана Павловича, и  результаты его кардиограмм. А они с каждым разом делались всё неутешительнее. И она прекрасно представляла себе клинику и своего чувства, и тот непрекращающийся и не поддающийся лечению процесс умирания. Доктор-то  она была, что называется, от Бога. И потому  вытирала слёзы, а они вновь накатывали на глаза.
  А той порой, Анемподист заметил, что на соседа совсем накатило. Не ожидал Иван Павлович, что встретит ещё раз в своей жизни дражайшую Ксению Егоровну и уж тем более, гастрономического владыку, который во время разговора, за спиной у министра пожёвывал что-то своим сомовьим ртом. Именно он стал обладателем старинного особнячка, в котором располагалось много лет общежитие филармонии. Именно этот тушистый господин отказал Ивану Павловичу в праве на  проживание. Вернее, на жизнь. Помнится, он, молча и не перебивая, выслушал Ивана Павловича, глядя на него своими немигающими кругленькими  глазами, затем нажал на кнопку портфеля. Замок хрустнул, будто палец сломался. И молча же, протянул  файл с документом, удостоверяющим, что именно он, Сомовий Рот,  единолично является законным приобретателем строения, номер такой-то,  по переулку Урицкого. Но сейчас уже не это событие  конец опрокидывало Ивана Павловича. Ему стало понятно, что он не сможет выйти на эстраду и читать отрывок из поэмы Твардовского. И даже не потому, что ему противно  быть « в тренде», а потому что потревоженное сердце вконец расхо-дилось, пошло в разнос, и он чувствовал, как физические силы покидают его. Нет-нет, он не мог себе позволить подняться на сцену, еле ступая, и там свалиться на глазах у Надежды Васильевны – хорош жених. И он подумал, что пока можно прилечь и попробовать прийти в себя после нежданной-негаданной встречи. Иван Васильевич даже улыбнулся: «Только Макарона здесь не хватало». Откуда ему знать, что Макарон в этот самый момент осуществлял гастрольную поездку в один тропический оффшорный рай с вновь созданной филармонической танцевальной группой у шеста «Rokковые Gёrls». Там, кстати, девочки имели оглушительный коммерческий успех, и Макарон всерьёз подумывал о том, чтобы продлить гастрольные услуги на неопределённый срок.
А под окнами на агитплощадке Дома той порою разворачивался праздник во всей своей красе. На первый ряд стульев уселась министр и её помощница. Тут же Сомовий Рот и все увидели, как дорогущий пиджак на его необъятной спине натянулся, подобно коже на барабане. Присутствовал и  о. Александр – средних лет, густобородый священник, окормляющий  храм при Доме, СанСаныч Тонких сел, потом опять встал и опять сел, и опять вскочил, начав по головам пересчитывать подходящих, ковыляющих с бадиками, подъезжающих на колясках обитателей Дома. Вдруг сердце его оборвалось. Он увидел Потычиху, вознамерившуюся, по своему обыкновению,  сесть на первый ряд, рядом с министром.  СанСаныч сделал самые страшные глаза, какие только могли позволить веки, набрякшие от изобилия торжествующей плоти. Но Потычиха глаз его не испугалась. Он поняла: её час пробил, и она сможет свернуть Ызурпа-тора. Надо только оказаться пред глазами нового начальства. А там, уж…   Каким-то шестым или даже восьмым, ведьминым своим чувством она поняла, что СанСаныч заменжевался – значит знает кошка, чьё мясо съела: «Кыса, моя кыса, Квасок, Квасочек!»  Потычиху, однако, перехватила Агнесса Ларионовна, которая имела над некоторыми, особо эмоциональными обитателями Дома вполне магическую и беспрекословную власть. И понятно почему: она врач-психоневролог высшей квалификации. В нагрудном кармашке её иссиня-белого халата, как газыри на груди чеченца, всегда дожидались нужного момента  шприцы по 150 мг. с аминазинчиком. Надо только снять колпачок с иглы и колоть прямо через одежду. Наконец, все расселись и СанСаныч предоставил слово министру. Министр взошла на возвышение и стала рассказывать о том, как губернатор, при поддержке  самого Кремля делает всё, чтобы обеспечить пожилым людям спокойную, здоровую и сытую старость. За-тем она  проинформировала собравшихся о тех успехах, которые уже состоялись или предстоят в обозримом будущем в экономике и социальном развитии области, занимающей почетное первое место в третьем десятке  областей, краёв и республик необъятной России. Слова министра о губернаторе и почётном третьем месте зафиксировали телерепортёры, зная, что они особо будут востребованы сегодня, в день Пожилого человека и прозвучат особенно убедительно, когда в кадре промелькнёт вздымающаяся грудь Потычихи, увенчанная  орденом и двумя медалями.
Иван Павлович начал привставать, но опять опустил голову на подушку:
- Анемподист Михайлович, - обратился он к соседу, почиты-вающему Франсуа Вийона, но поглядывающего на Ивана Павловича. - Не в службу,  в дружбу, сойдите вниз да предупредите. Мол, заболел ЗасРаК Клюква. В другой раз выступит.
- А может, медсестру позвать?
-  Не надо. Сам отлежусь. Разволновали меня визитёры. Нра-вится Вийон-то?
- А то! У меня в библиотеке он не был ни разу. Я семь зон, шесть библиотек прошёл. Всё было. И полное собрание Ильи-ча, и книга о вкусной и здоровой пище, и «Витя Малеев в школе и дома» – автора не помню. А в одной  – Семён Бабаевский  и прочие лауреаты Сталинской премии всех степеней – наши зэки разборчивые - не читали. Им чего-нибудь перчёное подавай. Или божественное. Но Вийона – нигде. Даже обидно; Жизнь отмотал почти до конца срока, а не попади к тебе в камеру: «Я знаю всё, но только не себя». Сука буду, но про меня написано!
- Да, - согласился Иван Павлович, - именно, до конца срока…
  А министр в своём коротеньком, минут на сорок , выступле-нии уже подошла к главному – славному будущему Дома. Она сказала, что принято окончательное решение о строительстве Третьего корпуса повышенной комфортности и отдельного медблока с набором самых современных лечебных процедур.
Тут СанСаныч и вовсе душой почернел. Понятное дело, его уж точно не оставят на месте, раз речь зашла о капвложениях, которые предстоит осваивать. Тут нужен человек насквозь свой. И самоё нутрё СанСаныча пронизала догадка о совсем даже не случайном появлении в кавалькаде Сомовьего Рта, и что привезённые им сладости, разложенные по пакетам для стариков - это для отвода глаз. Он решил: попечитель из гастронома присматривается ко владениям, которые можно будет к рукам прибрать. А что? Место уединённое, тихое…
- А хочешь, - сказал Анемподист, - я пойду и вместо тебя вы-ступлю? Раз ты болеешь.
- Это как?
- Да запросто. Я стихов много знаю. Могу про Конька-Горбунка, Могу Маяковского. Я его ещё, когда в советское время сроки мотал, наизусть запомнил.  Даже на смотры самодеятельности тюремной ездил. В Казани первое место занял. А больше всего Есенина люблю: Молодая, с чувственным оскалом… Эх!
- Так вы, Анемподист Михайлович, еще и лауреат! – Иван Павлович даже заулыбался.
- А чё? Помню: «Выступает Анемподист Горелый». Мне потом на зоне, когда со смотра вернулся, полная уважуха была.
  Через открытую дверь балкона было слышно, как министр заканчивала своё выступление, заверяя собравшихся в неизменности курса губернатора на внимательное отношение к нуждам трудящихся и уже не трудящихся сограждан, проживающих на территории орденоносной области, в которой есть всё для счастливого и полноценного проживания всех, кто в ней прописан.
-  Только в вашей одёжке, Анемподист Михайлович,  на сце-ну…
- Ну да, ну да, - Согласился Анемподист прикид у меня стрём-ный. И то –  гуманитарка.  Меня в больницу из подвала, когда привезли, я тот ещё был фраерок. А что на мне – врачи собрали. И монашки из церкви. Всё ношеное. Но хорошее. Но для сцены… Да!
- А вы мой костюм примеряйте.
-  Не побрезгуешь?
  А за окном уже выступал Сомовий Рот. Говорил  гладко,  без надрыва,  о том, что в прежние времена, когда он трудился в системе потребкооперации, всё было, но  строго фондируемо. А теперь ассортимент в магазинах таков, что и не перепробуешь. И на лице его, довольно маловыразительном, явственно проступило сожаление, что сегодня здоровье не позволяет понадкусывать всё досягаемое. Вот оно изобилие, даже и упомнить всё невозможно. Только компьютер и помогает. И сеть магазинов  готова подарить Дому три компьютера, чтобы  вы, дорогие наши старики, Могли освоить пространство интернета и писать друзьям в другие города. Конечно, сказано не было, что компьютеры списанные.
- Ишь, заливает, - подумал СанСаныч. – Компьютера нашим полудуркам! Потычихе компьютера не хватает! Весь интернет кляузами своими зассыт.
- А ещё каждому, - продолжал Сомовий Рот, -  Каждому в этот знаменательный, праздничный  день мы подготовили по подарку. Каждому по пакету.
- И лежачим? Что? Тоже? Ась? – Вскинулась   бабушка Вара-кушкина, любившая прикидываться недослышащей.
- Прямо в руки и отдадите, или через администрацию, как всегда?  - Спросил хрипато кто-то из мужчин. Но СанСаныч, к сожалению, не разобрал, кто именно.
- Сынок! – Тоненьким голосочком спросила Лидина Николаевна Ряпушкина – можно сказать, зажившаяся в Доме. - А сгущёночка тамочки будет ли?
- Не беспокойтесь! – Вскочив, возвысил голос СанСаныч. – И каждому, и всем лежачим, и сладенького, кому врачи не запрещают. Вы же знаете, Лидия Николаевна, что диабетикам нельзя сладкое. Ка-те-го-ри-че-ски! Наедитесь, а потом  откачивай вас. Диетсестра проследит.
  В пакетах, которые уже успели занести в помещение столовой, по распоряжению Сомовьего Рта,  действительно лежали гостинчики. Диетсестра Динара Валиахметовна – женщина строгая и неукоснительная, можно сказать, надежда и опора СанСаныча лично заглядывала в каждый пакет. Так, ничего особенного и привлекательного; Печенье в пачках с истекающим сроком годности, твердокаменные конфеты «Коровка», по банке сгущенного молока и, неожиданно, по маленькой баночке маринованных корнишончиков, также доживающих свой жизненный срок. Ясно, что почти всем обитателям Дома кое-что из подаренного, есть  категорически нельзя. А кому-то нельзя всё -  диета. Каша, да и та без масла. С диетой не поспоришь. Диета и ещё раз диета, как основа здорового образа жизни и активного долголетия.
- Да и вообще, - размышляла диетсестра, - отдай сразу, сразу и сожрут, как будто их не кормят.
  Анемподисту концертный костюм пришелся впору, хотя брюки великоваты в поясе. Но, на то есть ремень. С лаковыми туфлями возникла проблема из-за ампутированных пальцев. Да и нога у Ивана Павловича  на размер поболе. Её решили скоро:  насовали скомканные газеты. ЗасРаКовский значок Амнеподист отцепил и отдал Ивану Павловичу, смотревшему, как на глазах преображается человек, только что выглядевший настоящим зэком, только расконвоированным. В костюме типа смокинг выглядел он  вполне приемлемо. Кисти рук малость подводили - татуировки не очень гармонировали с атласными лацканами пиджака. Но только, если вглядываться. А так – совсем даже ничего. Лицо волевое, взгляд пронзительный седой бобрик на голове – сойдёт!
За окном теперь слышался голос Гудошникова. Размеренно и веско, будто кирпичи роняя, он от имени всех обитателей, даже безнадёжно лежачих, высказывал слова благодарности администрации Дома, отдельно врачам, отдельно медсёстрам, особенно процедурной Олечке – сразу в вену попадает, нянечкам, сестре-хозяйке, охране, техническому персоналу, диетсестре. Отдельное и огромное спасибо уважаем… (он заглотил последний слог: ому- мой) министру, которая, несмотря на огромную занятость, лично! Лично – я  настаиваю, товарищи! Сочла! Возможным! Прибыть… Ох уж, эти паузы Гудошникова! Горазд  паузить! Не отнимешь – умелец! На этих словах загорелись сразу  три красных сигнальных лампочки на камерах телеоператоров. А четвёртая камера опять снимала орден Потычихи. Удостоил-ся особого упоминания и Сомовий Рот. И напоследок – тёплые слова в адрес многоуважаемого СанСаныча Тонких – бессменного, подчёркиваю, бессменного руководителя нашего славного Дома.
- Зря он так! – Досадливо подумал СанСаныч. – Ой, как зря! Ну, поблагодарил бы и поблагодарил. А тут с нажимом относительно бессменности. Вроде намёка получилось. Уж, кому-кому, а ему ли ни знать: начальство намёков не любит.
Но СанСаныч и не догадывался, до какой степени новый  Ми-нистр не любит «намякиваний» на чью либо  исключительность и, уже тем более, несменяемость. Всякое, помимо её воли, оценочное высказывание по поводу  карьеры подчинённых, она воспринимала как личный выпад против её авторитета и  полномочий, вменённых указом губернатора о  назначении на должность. Забеспокоилась Агнесса Ларионовна, не увидевшая привычную фигуру Ивана Павловича, который согласно утверждённому сценарию, должен выходить сразу после трёх песен в исполнении ансамбля «Ивушка неплакучая». Но потом заметила знакомый чёрный костюм за  кустами, однако по близоруко-сти своей опростоволосилась,  не углядела подмены. Анемпо-дист же и не высовывался. Он, конечно, волновался, как вол-нуются всякий, кому предстоит являться  пред публикой. Хотя опыт выступлений за годы сидения наработан. Зона вообще – место принудительно публичное. Но выступления на Зоне – совсем другое дело. Там в первых рядах зрителей всегда  начальство и задний ряд также занимали люди в погонах. Поэтому благоговейное молчание гарантировано. Правда, и зрительские оценки разнились. Вплоть до исключительных, если скиксуешь. Но Анемподист в своём таланте успел увериться. Есенин его никогда не подводил. Да и он Есенина любил нелицемерно, а потому воспроизводил  стихи пронизающе, с той степенью накала в голосе, которая соответствовала душевной обнажённости поэта и, главное, надрывным чувствам сидельцев. Амнеподист  и сейчас собрался прочесть любимое своё «Ты жива ещё, моя старушка», и перебирал в памяти строки, приводящие самую чёрствую, закоснелую в злодействе, душу в содрогание. А на сцене семь старушек тоненькими, но довольно-таки  стройно звучащими голосочками вытягивали старинную  печаль: «На улице дождик с ведра поливает».
   Иван Павлович же, оставшись один, лежал, не вслушиваясь в пение. Сердце, вроде бы, перестало дурить, и он погрузился в состояние,  чем-то похожее на дремоту. Виделось, будто  идёт, вроде бы,  знакомым просёлком, свернув с большака. Только вот, что за  большак и куда ведёт просёлок,  не понимал. Похоже, на дорогу в Соловьёвку, где он вырастал при бабушкином догляде. По времени, за увалом в низине должна бы  появиться  деревня, сползающая по косогору к речке Ржавке, получившей своё имя от первопоселенцев за лёгкий привкус железа в воде. Он и увал миновал, но не было и за увалом никакой Соловьёвки. С самого гребня далеко-далеко просматривался путь меж незасеянных полей. А ещё дальше, у следующего увала виднелась порыжевшая к осени берёзовая роща, но не отчётливо, а словно золотистая полоска, прорезанная белыми пунктирами стволов.
   Надо бы остановиться и сообразить, куда дорога,  надо ли по ней путь держать. А не остановишься.  Некто незримый и неслышный, с кем не попрепираешься,  не позволял сдержать или хотя бы замедлить движение, даже на мгновение, чтобы обдумать дальнейший путь. А для того свернуть на обочину да  прилечь на траву, тронутую осенней ржавчинкой. Нет, не к бабушке в Соловьёвку вела путь-дорожка. А куда? Куда? Внезапно Ивана Павловича осенило; он вспомнил ту давнюю поездку на Дни Культуры в составе филармонической группы в сопредельную область, туда, где он родился. Там располагается Полигон, где отец отыскал свою смерть и поделился ей с матерью. Тогда организаторы  запланировали им поездку в гарнизон, где служило много призывников из их краёв. Артисты  дали концерт в роскошном, по тем временам, клубе. Отобедали в офицерском кафе. А на «десерт» замкомдива повёз артистов к эпицентру взрыва, уверяя, что никакой опасности это место сегодня не представляет. И теперь, как бы туда, в сторону Полигона толкало  мерцающее его сознание. Там, на супесях, на некотором возвышении, торчит обелиск,  обозначая  место,  некогда ставшее эпицентром атомного взрыва. Собственно говоря, как рас-сказывал офицер, сопровождавший группу шефов - артистов ,  взрыв произошел в воздухе, но точно над этой расчетной точкой. И сразу же,  после взрыва, как только верховой вихрь начал утягивать на северо-восток взметнувшийся в небо ядовитый гриб, из внутренностей ножки  стал  сеяться  радиоактивный песочек. А мимо горящих остатков дубовой рощи в противогазах прошли, ломая сапогами корку спёкшегося грунта, проехали в кузовах пылящих машин, в тесных внутренностях танков сорок тысяч солдат и офицеров, изображая в ходе учения, неукротимый порыв атакующей Советской Армии. Должен был пройти здесь и Павел Калистратович – отец  Ивана Павловича. Но не прошёл, потому как, будучи сверхсрочником- старшиной роты, обеспечивал тыловое прикрытие. А если сказать по-простому,  принимал от вернувшихся из атаки обмундирование,  переодевал-переобувал в новое. Складировал в ящики противогазы, обеспечивал помывку под душем. И  главное – накормил по усиленной норме. На сей раз в котлы полевых кухонь всё  положили по нормам, а закладку лично проверял белобрысый, дотошный до противности лейтенант-особист. Так что, сам взрыв его не задел, поскольку Павел Каллистратович, согласно приказу,  отсиживался в окопе, отрытом в полный профиль, и на вспышку не глазел. А вот дальше… А дальше он своё схлопотал; На полигоне в разном удалении от эпицентра наставили разной военной и вполне гражданской техники – чёртову гибель. Поговаривали, что даже станцию метро выкопали. Стояли танки, самолёты, грузовики, автобусы и даже троллейбусы с трамваями, а внутри - привязанные к сиденьям бараны на предмет изучения влияния взрыва на живые организмы. И почитай, у самой закраины  полигона, в овражке старшина Клюквенни-ков углядел новенький мотоцикл М-72 с люлькой. Он и не по-страдал толком. Только малость пообгорела краска на бензобаке, да чуть пооплавились резиновые сидения. А так – ничего. Павел Калистратович был из той славной и неистребимой когорты старшин, которые в тёмной комнате с завязанными глазами ложку с кашей мимо рта не пронесут. Мотоцикл тот скрытно перебазировался в  деревню, где квартировал он, жена и пацанёнок. И всего-то старшина с женой пару раз съездили за картошкой. В люльке оказалось так удобно возить мешки. Тут-то бомба  настигла и его, и  Таисию Ильиничну – иванову мать. Иван Павлович из тех событий по малости лет  мало, что запомнил. Разве только лимонного цвета одутловатое лицо отца и  опухшие пальцы руки, которыми всё тянулся к нему, Ванечке, чтобы пощекотать. Так и сгинули старшина Клюквенников и его супружница неизвестно от чего. Никто из деревенских не ведал, какое лихо на них навалилось. А кто знал – молчал, поскольку подписку давали на четверть века.
  Ивану Павловичу мнилось, что и полевая дорога, по которой он шёл, и воспоминания об отце, и поездка к месту взрыва атомной бомбы длятся  долгие-долгие часы. Он даже  утомился от  всего: от подробностей, подаренных ему памятью о событиях, что действительно происходили с ним, и видениями, объяснения которым  не было. На самом деле, весь этот призрачный мир, возникающий в  сознании, вмещался в секунды забытья, накатывающего  волнами. Волны накрывали  с головой, как некогда в Сочи. Помнится, выпало ему счастье заполучить бесплатную профсоюзную путёвку в санаторий,  и он, дорвавшись до хорошего,  выказывая удаль перед одной винничанкой, повизгивающей от острых ощущений нахлынувшего курортного счастья, полез тридцатого сентября в штормящее  море и чуть, было, ни утонул. Вот и взвизгивания украиночки, и ветер обле-пивший платьем  её тело, пышное, как паляница, оказывается тоже  каким-то немыслимым образом, были с ним среди воспоминаний об эпицентре, опухших пальцах отца и  золотистой полоске берёзовой рощи, пронизанной пунктирами белых стволов.
- А теперь стихи! – звонким не по возрасту голосом провозгласила кастелянша Гаврилина, по совместительству культорг Дома. На сцену приглашается… - Она повернулась в сторону лавочки у крыльца и обомлела; Вместо Ивана Павловича шёл его костюм с атласными отворотами пиджака, а голова над пиджаком была совсем не та. И пока  культорг Гаврилина приходила в себя от изумления, принудившее её замолчать, Анемподист уже стоял у микрофона:
 - Граждане! Вам всем поклон от Иванпалыча. Он малость… это самое. А я заместо него. На время. Так что, извиняюсь перед всеми и перед вами особенно, гражданка министр. И всем-всем доброго здоровьичка во все места.
  Анемподист впервые выступал на воле. Да ещё через микро-фон. И костюм на нём, хоть и с чужого плеча, но костюм! И публика такая, что ни в одной зоне не увидишь. В первом  ряду сплошь начальнички – ё-моё!  У  СанСаныча лысина красным взялась. А министра гласа выкатила и вдруг напомнила Химозу. Когда он освободился из колонии по первому разу, захотел  её шугануть. А она уже в район уехала вместе с мужем и там ЗавРайоно заделалась. Анемподист подкарауливал её у дверей. Но смог только издалека увидеть. Химоза шмыг в машину и была такова. На него глянула, но не узнала. Он в колонии вытянулся. И лицо у Химозы было такое же, как у этой, и взгляд, как сквозь людей смотрит. А за начальством в три ряда старики да калеки. А за калеками у подъезда – чёрная зверообразная туша министерского джипа. И решётка радиатора блестит, как рот, полный стальных фикс… Того и гляди, подкатит и примется пережёвывать старичьё. И вдруг, неожиданно для самого себя, обежав глазами  три ряда старческих лиц,  объявил: Владимир Владимирович Маяковский, «Стихи о советском паспорте»:
 - По длинному ряду купе и кают…
- Ксения Егоровна, - зачастил в ухо министру СанСаныч, - Ей богу, не нарочно. Не знаю, откуда этот уголовник на мою голову…
- Молчите, уж! – Только и сказала министр. Она в принципе ненавидела стихи, и особенно люто, со школьных лет – Маяковского. А тут, в такой день,  стих про Советский Союз… Прямо политический вызов! Но, каков уголовничек! Он ей сразу не понравился. А теперь и вовсе – морда-то, морда одна чего стоит… каторжная! Ишь, как глазищами воровскими посверкивает,.. Она решительно встала, не желая участвовать в провокации  на глазах у журналистов, и особенно этой… задрыги оппозиционной. И пошла, почти побежала к своему чёрному зверю.  За  ней снялись с мест Сомовий Рот, референтша,  операторы и репортёрши. Засеменила и Потычиха, намереваясь хоть на бегу такое рассказать министру, такое… Осталась только задрыга оппозиционная, почуявшая в стихах какого-то, неизвестного ей  Маяковского про паспорт многообещающую скандалёзность. СанСаныч семенил следом, чувствуя, как вдоль хребта потёк ручеёк холодного пота. Анемподиста же уход гражданки министра не смутил. Надорванным своим баритоном он продолжал рассказ Маяковского и про козу, смотрящую в афишу, и про двуспального английского Лёву. И про краснокожую паспортину.
   Как только Анемподист встал с лавочки и двинулся к сцене, Надежда Васильевна  соскочила с места и почти побежала в корпус – «Боже, боже, боже!» Войдя без стука, она увидела Ивана Павлович, лежащего с закрытыми глазами и что-то еле слышно говорившего. За окном рокотал Анемподист. Она за-крыла балконную дверь, и стало слышно, что Иван Павлович повторяет в забытьи одни и те же слова, через паузу, словно заучивая наизусть:
« Ты будешь жить, пока Я не приду».
Надежда Васильевна присела на краешек постели и взялась за запястье. Пульс частый и неровный. Глаза Иван Павлович не открыл. Ясно,  надо вызывать Скорую. Но она знала, что Скорая неохотно откликается на вызовы из Дома. Как говаривали водители карет: «Чё толку  жмура в больничку тащить. Всё одно – не положат. Дали бы спокойно помереть дедульке».  И, тем не менее… Она побежала, если это можно назвать бегом,  на пост дежурной медсестры, совершенно упустив из памяти, что телефон на посту не имел выхода в городскую сеть, дабы старики да и персонал не злоупотребляли разговорами, тем более по межгороду. Набрав 03 и услышав частые гудки, сообразила, что надо бы бежать в административный блок и звонить из приёмной директора. Побежала. А приёмная закрыта на ключ. Видно, секретарша,   ( несмотря на сорок пятый год жизни всё ещё Настя), также на концерте. Надежда Васильевна выглянула в окно, и увидела, как СанСаныч в распахнутом белом халате, к никогда не сходившемся на пузе, со съехавшим набок галстуком поспешает  за ручкой дверцы отъезжающего министерского  джипа. Но машина трогается, и директор ухватывается в трагическом порыве левой рукой за лоб, как это делают провинциальные актёры, воплощая высшую степень отчаяния. Надежда Васильевна распахнула окно и крикнула: « СанСаныч! Скорую надо. Иван Павлович совсем заплохел. Откройте кабинет, пожалуйста»
- Да, - как бы самому себе сказал Тонких. – Все мы тут заплохели. – И добавил, скрежещущим голосом обращаясь к Потычихе, - Завтра же выгоню. Даже без завтрака! На улицу! Поняла? По подъездам будешь шмонаться!
Потычиха  в ответ сложила пальцы кукишем. Повертела им пред носом СанСаныча и первой ринулась в столовую за обе-щанным гостинцем. За  нею дружно повлеклись и другие ви-новники торжества. Тем более, Гриша, даром, что придурковатый, а ущупал в пакетах сгущёнку, когда помогал заносить подарки в столовую, и открытием своим поделился с контингентом.
  Иван Павлович пришёл в себя, и ему вспомнилось, что там, за завесой угасшего сознания, словно кто-то  был рядом, дотрагивался до руки, гладил её. Мама ли это,  лица которой он не помнил, а фотографии её во взрослом возрасте не было - только маленькая детская. Или это бабушкины скрюченные пальцы колхозной доярки касалась его руки? Или  дочь, его Дашута,  каким-то чудом прознавшая, что отцу так плохо, что хуже и некуда. И она почувствовала,  и простила папу за всё. Прежде  всего,  что так легко  смирился с её увозом к другому, ненастоящему отцу в ходе развода. И  за все годы взросления лишь один разъединственной раз навестил, явившись нежданно-негаданно в дом виолончелиста с нарядной немецкой куклой в подарок.  А она дичилась его и папой не называла. И он сам себя убедил: так тому и быть. Не должно мешать счастью ребёнка, раскалывая душу напополам. И не предпринимал иных попыток хоть как-то сблизиться, если не считать скрупулёзного выполнения роди-тельских обязанностей по выплате алиментов. Даже долго хранил все до единого квитки денежных переводов. Да!!! Но на свадьбу свою она его всё же пригласила. Он  поехал в далёкий закрытый городок, куда увёз дочь жених-ракетчик. Но, ни бабушки, ни мамы, ни дочери,  ни двоих незнаемых им внуков - никого рядом не было, да и быть не могло. Только комната в Доме с санузлом, в котором неостановимо уже которую неделю журчала вода из-за сломанного бачка.  Да ещё взлелеянная им библиотека, представлявшая ценность, похоже, только для него самого. Да   афиша лауреата всероссийского конкурса чтецов Ивана Клюквы  (странный псевдоним, если разобраться), прикнопленная к стене, да значок ЗасРаКа,  зажатый в кулаке. Значок-то и вернул его окончательно, к реалиям продолжающейся наперекор всему жизни…  Он вспомнил, как новый сосед открепил значок от борта концертного пиджака, следом  вспомнил, что сосед – вор, и зовут его чудно – Амнеподист, а имя это означает в переводе с греческого «свободный». Иван Павлович добрался в воспоминаниях и до самого истока так хорошо начинавшегося дня. А начинался день с поэмы  Жуковского – поэта ныне полупозабытого. Он протянул руку, взял со стола книгу.  Красно-коричневые тома с золотым тиснением на корешке и рисунком на обложке он весьма ценил: «В.А. Жуковскiй. Полное собрание сочинений в 12 томахъ, Приложение къ журналу «Нива». Издание А.Ф. Маркса». Этот книжный раритет некогда куплен у одной старушки из «бывших», большой поклонницы его чтецкого таланта за сравнительно небольшую сумму. Но, какой скандалище закатила ему тогда  арфистка! Знатный скандал: «мне надеть нечего, а он (жена любила во время скандалов о нём говорить в третьем лице) со своими сраными книгами». Визг  на самых высоких нотах и даже пополам с площадной руганью. А следом –  рыдания, перешедшие в такую икоту, что Ивану Павловичу пришлось ночью бежать в дежурную аптеку за валерьянкой. Прикосновение к коленкору  переплёта умиротворяло. Иван Павлович отказывался понимать тех, кто находил прелесть в иных радостях бренной жизни. Ну, скажите: какой прок тешить себя какими-то колечками, хоть и раззолотыми. Его вторая невенчанная жена – зав филармоническим буфетом именно ума лишалась, завидев на какой-нибудь зрительнице нечто блескучее да с камушком. Во имя обладания таким же,  готова была на всё, чем располагала в своём буфете. Обсчёт – не в счёт. Это, как само собой разумеющееся.  Колбаса копчёная и сыр на бутербродах, продаваемых в антрактах, потому нарезались так виртуозно, что, кажется, можно было их вместо стёкол в оправы очков вставлять. Пустяк, казалось бы, но, как она говаривала, коштовато. А, что?  Курочка по зёрнышку клюёт да тем и сыта бывает. Зато в недолгие месяцы сожительства с буфетчицей, Иван Павлович съел столько копчёной колбасы, сколько  не ел ни до, ни после. Ну, да бог с ней! А вот книга – это -  ла! Поэма у Жуковского  славная,  глубокая, жаль, что не закончил её Василий Андреевич. Одно плохо: название подкачало. По теперешним временам непотребно звучит. Как теперь принято выражаться, не толерантно: «Странствующий Жид». И зачем он за неё принялся? ЗасРаК Клюква и сам не знает зачем. Скорее, по привычке работать с текстами, заучивать, держать мозг в напряге. Здесь в Доме он увидел людей, угасающих умом и телом во блаженной праздности. А Иван Павлович всё ещё хотел жить. Ой, как хотел! Тем более, сейчас, когда наконец-то с удивлением для себя понял, что полюбил. Крепко-накрепко полюбил эту женщину с  серебряным голосом. Но история Странствующего Жида…  Впрочем, почему нет? Он не без горечи улыбнулся: все мы немножко, а кое-кто и очень даже множко агасверы. И вновь угасающее сознание унесло  его на дорогу без конца и начала, по которой он шёл мимо стольких людей, молча провожающих его взглядами. Они смотрели и молчали. Просто смотрели… Боже! Просто смотрели!!!  Он  видел их глаза,  он сам хотел хотя бы приостановиться и сказать каждому хоть что-то, да просёлок, такой обманчиво мягкий, прямо-таки стелящийся под ноги, вмиг становился адски горячим, стоило  только хоть на неуловимое мгновение сдержать шаги или даже всего лишь подумать об  этом. Вот уже и третья жена – бывшая его студентка в театральном колледже, где Иван Павлович преподавал Сценречь, осталась  за спиной. Ах, эти индивидуальные занятия! Ах, диафрагма! Ах, этот сводящий с ума запах  молодого девчачьего тела, которое кто-то до него уже успел сделать женским…  Тогда, в те поры Иван Клюква чувствовал себя… Да! Он был по-бедителен, как в молодые годы. По крайней мере, ему так казалось. А этой… Ей нужно было, где жить. Она только казалась маленькой дурочкой из далёкого райцентра. На самом деле, всё было просчитано и сыграно. И это оказалось её лучшей актёрской работой. Даже  сам Станиславский, взглянув на неё, воскликнул бы «Верю»! Что уж там Иван Павлович, который как-то случайно, почти педагогически поцеловал её в щёчку, а потом - так вышло - в ушко,  и не сумел оторваться. А как правдивы были её глаза,  движения рук, губы, сколь податливо юное тело. Оно-то слаще всего ос-тального. Тем более, его стареющее нуждалось в молодой, завораживающей ненасытности. Он расписался с ней, забрал в филармоническое общежитие и даже отвоевал комнату по соседству.
  Но, когда она начала исчезать вечерами и перестала возвра-щаться домой ночевать, ему намекнул филармонический лирический тенор Неумывакин: в скандально-дорогом стрип-баре «Этуальки» появилась новая танцовщица у шеста, выступавшая в маске  под  именем Ягодка…  Потом, после разрыва, окольными путями Иван Павлович узнал: Ягодка даром времени и всего остального не тратила и стала впоследствии лицом, а затем и совладелицей сначала одного, а потом и сети  массажных салонов для мужчин. Именно тогда явственно он ощутил: у всякого смертного есть сердце, и находится оно слева. Иван Павлович даже застонал. Но не от боли, а от нестерпимости воспоминаний. Он открыл глаза и увидел, что большая стрелка настенных часов, подаренных ему в филармонии от имени Макарона в последний день работы, почти не сдвинулась с места. А сколько всего пронеслось в его забытьи – просто удивительно!
  В дверь, постучавши, вошёл о. Александр.
- Иван Павлович, что же это вы?
- Да, отец Александр. Увы! – Ивану Павловичу всё ещё каза-лось чуднЫм называть отцом человека,  вдвое себя моложе. Да и само общение с попом раньше, особенно в молодые годы, также казалось немыслимым. Тем более, в Соловьёвке церковь снесли во время хрущёвских гонений. Это  он помнил довольно отчётливо, потому что было жаль бабушку, которая плакала, когда стальную петлю набросили на навершие церкви и тракторист Петькин газанул. Трактор харкнул чёрным дымом и повалил деревянный  шатровый купол. И… ничего, никакого грозного боженьки. Это Иван Павлович запомнил тоже основательно. Он и на теперешний  всплеск церковной обрядности поглядывал не без некоей льдинки в глазу. В самом деле: ну, зачем и кому помогает кропление святой водой и молебны по всякому случаю. Да и попы казались ему кем-то вроде артистов, выступающих на публике с разной степенью умелости. Но как-то после вы-ступления Ивана Павловича в Троицын день (который в Доме именовали «День берёзки») когда он читал раннего Есенина обитателям Дома, они почти на ходу разговорились. Ока-залось, о. Александр страстный книголюб. А уж когда он наизусть, с пониманием прочёл своё любимое:    «Скажи мне ветка Палестины: где ты росла, где ты цвела», льдинка в глазу начала подтаивать. Стал Иван Павлович посещать, сперва ради любопытства, службы.  Неожиданно – сказался актёрский навык – выучил с голоса и «Отче наш, и «Верую». Сначала, стесняясь самого себя, начал креститься произвольно, как бог на душу положит. Затем, пообвыкнув, кося глазом на богомольных старушек, начал возлагать крестное знамение, сообразно ходу службы. О. Александр  не поторапливал. А разговоры о поэзии продолжались. Да и не только о ней.
- Что это вы почитываете? – поинтересовался о. Александр, присаживаясь рядом с кроватью на стул. – О! « Странствую-щий Жид».  Изрядное чтение.
- А что? И правда, была такой Жид?
- Ни о каком Жиде, тем более, Вечном, в Евангелиях нет ни строчки -  всё сплошные выдумки. –  о. Александр улыбнулся. -  В 12 веке, или веком позже – не помню точно, сочинили сказку католические монахи где-то в Германии или Франции. А вы заинтересовались этой историей?
- В некотором роде.
- Выдумки, сочинения масона Жуковского.
 - А он масон?
- Все они  масоны. Даже Пушкин. Выдумщики. История эта вовсе не христианская. Христос, говоря по-теперешнему, лузер. Пошёл в Иёрусалим, зная, что ничего хорошего его не ждёт. Про Иуду всё знал и не удалил  от себя. Петру сказал, что он трижды предаст, а  сам называл камнем, на котором  воздвигнет церковь. Фоме раны подставил, чтобы тот пальцами немытыми в них поковырялся, дабы убедиться, что это не нарисовано. Всех Христос простил. Даже тех, кто его гвоздями ко кресту прибивал. А тут, вопреки себе, обрёк на вечную муку. Не похоже на правду. Христос любви учил.
- Иногда мне кажется, я… что мы…как  Агасвер.
- Знаете, - сказал священник, посерьёзнев, - все мы уподобляемся этому персонажу, когда отталкиваем от себя Христа.
- Вы сказали «Мы». Значит, и вы тоже?
- Я, быть может, грешнее многих.
- Но вы священник.
-  Молния выбирает высокое дерево.
- Тогда, как говорится, Господи, Помилуй!
 - Аминь, - ответил о. Александр и перекрестился. Помолчал, а потом добавил, - Настала пора, дорогой Иван Павлович, исповедаться и причаститься Святых Христовых Тайн. Он видел бледное, будто из белого воска лепленное, лицо Ивана Павловича и вполне оценил  степень изнеможения от жизни и болезни. И хотя досвященнический  опыт врача вобрал в себя лишь ранения и контузии, что пришлось врачевать на  первой чеченской войне, не зря он заканчивал военно-медицинскую академию. Учили там хорошо.
    Дверь  растворилась, в комнату вошла Надежда Васильевна,  дозвонившаяся до Скорой, дождавшаяся прибытия и успевшая по дороге от кареты до комнаты всё обсказать докторице, которая оказалась знакомой – когда-то  проходила интернатуру в больнице, где работала Надежда Васильевна. Пока докторица задавала стандартные вопросы Ивану Павловичу, долговязый фельдшер развернул укладку с электрокардиографом, прикрепил зажимы к щиколоткам и запястьям. Зажужжал прибор, полезла лента. Священник, чтобы не мешать, улыбнулся ободряюще Ивану Павловичу, перекрестил благословляющее, и вышел из комнаты. Когда жужжание закончилось, докторица взяла ленту и стала рассматривать, молча указывая Надежде Васильевне на характерные пики.
- Да-да, Света, - сказала Надежда Васильевна. – Ты права.
- Покажите мою пилу, - попросил Иван Павлович слабым голосом.
- Какую пилу? – Удивилась докторица.
- Двуручную. Какой дрова пилят, – улыбнулся Иван Павлович.  у нас в деревне такая была в деревне. И он пальцем прочертил в воздухе, как бы зубчики пилы. - Там на ленте так же. Вверх-вниз. Хорошо, хоть, заточена?
- Шутки у вас, больной… - строгим голосом сказала докторица.
- Анастасия Викторовна, - дедано улыбнулась Надежда Васильевна. – Вы разве не узнали пациента?
- Обязательно узнала. Афиша во всю стену. Вы к нам в инсти-тут приезжали, стихи про любовь читали. Я тогда на четвёртом курсе училась.
- Да, – согласился Иван Павлович. – Именно про любовь.  Там ещё  человек в разрезе. И скелет за стеклом.
- Всё помнит, - порадовалась докторица. – 304 аудитория. Третий этаж первого корпуса. Давно это было. – И, вздохнув, добавила, - Теперь никто про любовь стихи не читает.
Фельдшер тем временем набрал лекарство в шприц и уколол Ивана Павловича  в руку. А следом – ещё один укол
И вновь дверь отворилась. На пороге нарисовалась Агнесса Ларионовна
- Иван Павлович, дорогой вы наш. А у меня для вас приятное сообщение. Кирилл Петрович из 272-го … того. Мы вашего соседа от вас к вечеру заберём. Так что всё будет хорошо. Вы только не переживайте. А я так перепугалась, когда мне про Скорую доложили. Только сразу вырваться не смогла. Там такие страсти разгорелись из-за подарков. Пришлось усмирять. –  Она привычным жестом приложила ладонь к нагрудному кармашку халата, где у неё опять наготове заряжены были средства успокоения. И уже обращаясь к докторице, вполне деловито спросила: «Будете госпитализировать?».
- Нет. - Ответила докторица. - Вы понаблюдайте. Лекарства у больного есть, я вижу. А если что, вызывайте опять. – И обращаясь к Ивану Павловичу, добавила, но уже вполне шутливо. – Пила ваша немного подзатупилась. Но вы ещё попилите ваши дрова. До свидания. – И они с фельдшером скоренько вышли.
Но этих слов Иван Павлович уже не слышал. Он вновь оказался на просёлке, которым прежде шёл. Надежда Васильевна показала рукой Агнессе Ларионовне, что посидит с больным и та удалилась.
   А дорога стала затруднительнее для пешего хода. Прежде она была хорошо укатанной, а теперь всё больше меленький песок, почти прах да с каждым шагом всё глубже. Вот уже он начал затекать в туфли.  Иван Павлович подумал, что напрасно отправился в путь в лаковых концертных туфлях. Совсем они не годятся для просёлков, да и жалко. Нет  сегодня таких денег, чтобы новые туфли заказать, если что. Потом вспомнил, что отдал их Амнеподисту для выступления. А в какие же он обут? Посмотрел и увидел, что ноги уже по щиколотку ушли в прах. Но это и лучше. Он шёл, как по воде, всё глубже увязая, но тягости не испытывал. Дорога пред ним была по-прежнему пуста… Хотя, нет!  Далеко-далеко впереди ехал мотоцикл с коляской. Рулил мужчина. А кто  в коляске? Издалека трудно было разобрать. Иван Павлович постарался идти быстрее и, как ни странно, начал приближаться к несущемуся во весь опор мотоциклу, несмотря на то, что ноги погрузились в прах уже почти по ко-лени.  Собственно говоря, зачем надо  догонять мотоцикл? Что за мотоциклист рулит? Куда путь держит? Может, это папа с мамой? А вдруг? Догнать бы! Заглянуть в лицо папе и маме. Он их не помнит, и могилку которых так давно не обихаживал, но узнает наверняка.  Скорее бы достичь…  Может,  догонит на очередном взгорке, возле чахлых кустиков у обочины. Быстрее, быстрее! Вот сейчас он обгонит мотоцикл, взмахнёт рукой… И тогда Иван Павлович  вглядится наконец-то в лица, наглухо закрытые большими  мотоциклетными очками, так что ни глаз, ни лица толком не видно. Вот сейчас, вот сейчас! Как долго, спрашивал он, торопя  сам себя,  сердце сможет выдерживать эту погоню? Он ощущал, как убыстряются трепетания сердечной мышцы. «Иван Павлович» - вдруг до него дошёл такой знакомый серебряный голос. Исчез дорожный прах, рассеялась, словно туман, дорога, по которой поспешал он за мотоциклом,  заглохло тыртырканье двухцилиндрового мотоциклетного мотора. Иван Павлович открыл глаза.
- Надежда Васильевна… Милая..
-  Да, Иван Павлович…
- Видите, каков… из меня… жених…
- Зачем вы так?
- «Ты будешь жить. Пока я не приду» - Не мои слова. – Он указал на книгу, лежавшую рядом с ним. Здесь, здесь, у Жуковского в поэме… Я вас люблю, Надежда Васильевна… Я боялся не успеть сказать вам…  А вы… ты взяла, и пришла. – Иван Павлович снова закрыл глаза и вновь погрузился в глубины одному ему видимых пространств.
 Анемподист, благоухая свежевыпитой водочкой, распахнул дверь настежь.
- Палыч! Полный успех! Ну, я читанул, так читанул! Нам с тобой за то сверх нормы сгущёнка обломилась и две пачки чая. Щас замуточку сотворим. А меня к корешу переселяют. Мы с ним на «Восьмёрке» вместе отбывали, только в разных отрядах. У него шконка освободилась. Ой, а чё  с ним?
- Отходит, -  тихо ответила Надежда Васильевна. Она не плакала. Слёзы не приходили, но было ощущение, будто она шла на задувший, холодный уже, октябрьский ветер. Он встречал её сильными порывами и пригоршнями швырял в лицо какой-то невесомый  прах. Прах этот попадал в глаза. И глазам делалось больно, как это бывает, когда в них что-то попадёт.